

Песни Мамыгорыя

ПОТРЕАМОФ

18+

*« После этого можно уже
ничего не писать »*

Андре Жюиз

Лотреамон

Песни Мальдорора

«АСТ»

1869

Лотреамон

Песни Мальдорора / Лотреамон — «АСТ», 1869

Лотреамон – риторическая фигура европейской культуры, бездонный и утонувший внутри себя граф является мистическим союзником Рембо и Бодлера, извращенным певцом человеческого упадка. Умерший в 24 года, запрещенный, изгнанный из литературы, Лотреамон становится символом французского сюрреализма и человеческой свободы. Как известно, плата за чтение «Песен Мальдорора» – потеря рассудка.

© Лотреамон, 1869

© АСТ, 1869

Содержание

Песнь I	6
Песнь II	23
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Граф Лотреамон

Песни Мальдорора

© Наталья Мавлевич, перевод

© ООО «Издательство АСТ», 2015

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Песнь I

[1] Дай бог, чтобы читатель, в ком эти песни разбудят дерзость, в чьей груди хоть на миг вспыхнет бушующее в них пламя зла, – дай бог, чтоб он не заблудился в погибельной трясине мрачных, сочащихся ядом страниц, чтоб смог он найти неторную, извилистую тропу сквозь дебри; ибо чтение сей книги требует постоянного напряжения ума, вооруженного суровой логикой вкупе с трезвым сомнением, иначе смертоносные испарения пропитают душу, как вода пропитывает кусок сахара. Не каждому такое доступно, лишь избранным дано вкусить сей горький плод и не погибнуть. А потому, о слабая душа, остановись и не пытайся проникнуть дальше, в глубь неизведанных земель; не вперед, а вспять направь свои стопы. Ты слышишь, не вперед, а вспять, подобно тому как почтительный сын отвращает глаза от сияющего добродетелью лица матери, или, вернее, подобно длинному клину теплолюбивых и благоразумных журавлей, когда с наступлением холодов летят они в тишине поднебесья, расправив могучие крылья, держась известного им направления, и вдруг навстречу им задует резкий ветер, предвестник бури. Старейший, летящий во главе всей стаи журавль встревоженно качает головой, а стало быть, и клювом тоже, и недовольно им трещит (еще бы, на его месте я тоже был бы недоволен), а между тем порывы ветра злобно треплют облезлую его выю, пережившую целых три журавлиных поколения, – гроза все ближе. И тогда, неспешно и тщательно обозрев горизонт своим многоопытным оком, вожак (он и никто другой облечен правом являть свой хвост взорам всех летящих позади и уступающих ему в мудрости птиц) издает унылый предостерегающий крик, как страж, отпугивающий злоумышленника, и плавно отклоняет вершину летучей геометрической фигуры (возможно, это треугольник, образуемый в пространстве занятыми перелетными птицами, но третьей стороны не видно¹), вправо или влево – так опытный шкипер меняет галс, – и, поворачивая крылья, что кажутся с земли не больше воробьиных, с философическим смирением ложится на другой, безопасный курс.

[2] Ты, верно, ждешь, читатель, чтоб я на первых же страницах попотчевал тебя изрядной порцией ненависти? – будь спокоен, ты ее получишь, ты в полной мере усладишь свое обоняние кровавыми ее испарениями, разлитыми в бархатном мраке; твои благородные тонкие ноздри затрепещут от вожделения, и ты опрокинешься навзничь, как алчная акула, едва ли сознавая сам всю знаменательность своих деяний и этого вдруг пробудившегося в тебе голодного естества. Обещаю, две жадных дырки на гнусной твоей роже, уродина, будут удовлетворены сполна, если только ты не поленишься три тысячи раз подряд вдохнуть зловоние нечистой совести Всевышнего! На свете нет ничего, столь благоуханного, так что твой нос-гурман, вкусив сей аромат, замрет в немом экстазе, как ангелы на благодатных небесах.

[3] Теперь скажу несколько слов о том, как добр был Мальдорор² в первые, безоблачные годы своей жизни – вот эти слова уже и сказаны. Но вскоре он заметил, что по некой фатальной прихоти судьбы был создан злым. Долгие годы в меру сил скрывал он свою натуру, но это длительное, неестественное напряжение привело к тому, что ему стала каждый день бешено бросаться в голову кровь, так что наконец, не выдержав муки, он всецело предался злу... и зады-

¹ Комментарии к «Песням Мальдорора» Лотреамона составлены Н. Мавлевич.... возможно, это треугольник, но третьей стороны не видно... – Лотреамон любит вставлять в свои строфы цитаты из зоологических книг, намеренно перебивая высокопарный стиль сухим научным слогом. Основными источниками этих цитат послужили ему «Естественная история» Ж.–Л. Бюффона (1707–1788), «Классическая зоология» А. Пуше (1800–1872), «Энциклопедия естественной истории» Ж.–Ш. Шеню.

² Мальдорор – существует несколько предположений, объясняющих значение имени героя Лотреамона; вполне очевидна только его связь с корнем «Mal» – «зло». См также вступительную статью.

шал полной грудью в родной стихии! Подумать страшно: всякий раз, как Мальдорор касался губами свежих щечек ребенка, он испытывал желание исполосовать их острой бритвой, и он охотно сделал бы это, не останавливая его Правосудие с его грозным арсеналом наказаний. Но он не лицемерил, он прямо говорил, что жесток. Вняли ль вы его словам, о люди? Вот теперь он повторяет свое признание на бумаге, и перо дрожит в его руке! Увы, есть сила помощнее воли... Черт побери! Что бы вы сказали, если б камень вздумал вдруг противиться закону тяготенья? Ах, это невозможно? Но так же невозможно злу жить в ладу с добром, хотя б оно того и пожелало. К тому я и клоню.

[4] Иные пишут для того, чтобы заставить публику рукоплескать своей добродетели, напускной или подлинной. Я же посвящаю свой талант живописанию наслаждений, которые приносит зло. Они не мимолетны, не надуманы, они родились вместе с человеком и вместе с ним умрут. Или благое Провиденье не допустит, чтобы талант служил злу? Или злодей не может быть талантлив? Мое творение покажет, так ли это, а вы судите сами, была бы охота слушать... Погодите, у меня, кажется, встали дыбом волосы, ну, да это пустяки, я пригладил их рукой, и они послушно улеглись. Так вот, каватины, которые певец исполнит перед вами, не новы, но то и ценно в них, что все надменные и злобные мысли моего героя каждый обнаружит в себе самом.

[5] Я насмотрелся на людей, и все они, все до единого, тщедушны и жалки, все только и делают, что вытворяют одну нелепость за другой да старательно развращают и отупляют себе подобных. И говорят, что все это – ради славы. Глядя на эту комедию, я хотел рассмеяться, как смеются другие, но несмотря на все старания, не смог – получалась лишь вымученная гримаса. Тогда я взял острый нож и надрезал себе уголки рта³ с обеих сторон. Я было думал, что достиг желаемого. И, подойдя к зеркалу, смотрел на изуродованный моею же рукою рот. Но нет! Кровь так хлестала из ран, что поначалу было вообще ничего не разглядеть. Когда же я вгляделся хорошенько, то понял, что моя улыбка вовсе не похожа на человеческую, иначе говоря, засмеяться мне так и не удалось.

Я насмотрелся на людей, жуткорожих, с запавшими глазами, они бесчувственнее скал, тверже литой стали, злобнее акулы, наглее юнца, неистовей безумного убийцы, коварнее предателя, притворней лицедея, упорнее священника; нет никого на свете, кто был бы столь же скрытен и холоден, как эти существа, им нипочем ни обличенья моралистов, ни справедливый гнев небес! Я насмотрелся на таких, что грозят небу дюжим кулаком – так угрожает собственной матери испорченный ребенок, – верно, злой дух подстрекает их, жгучий стыд превратился в ненависть, которою горит их взор, они угрюмо молчат, не смея выговорить вслух своих святотатственных мыслей, полных яда и черной злобы, а милосердный Бог глядит на них и сокрушается. Насмотрелся и на таких, которые с рождения до смерти, каждый день и час, изошряются в страшных проклятиях всему живому, себе самим и своему Создателю, которые растлевают женщин и детей, бесстыдно оскверняя обитель целомудрия. Пусть вознегодует океан и поглотит разом все корабли, пусть смерчи и землетрясения снесут дома, пусть нагрянет мор, голод, чума и истребит целые семьи, невзирая на мольбы несчастных жертв. Люди этого и не заметят. Я насмотрелся на людей, но чтобы кто-нибудь из них краснел или бледнел, стыдясь своих деяний на земле, – такое доводилось видеть очень редко. О вы, бури и ураганы, ты, блеклый небосвод – не пойму, в чем твоя хваленая красота! – ты, лицемерное море – подобие моей души, – о вы, таинственные земные недра, вы, небесные духи, и ты, необъятная вселенная, и ты, Боже, щедрый творец ее, к тебе взываю: покажи мне хоть одного праведного человека!.. Но

³ ... надрезал себе уголки рта... – Напрашивается сравнение с романом В. Гюго. «Человек, который смеется», однако он появился годом позже, чем первая песнь Мальдорора.

только прежде приумножь мои силы, не то я могу не выдержать и умереть, узрев такое диво – случается, еще и не от такого умирают.

[6] Две недели надо отращивать ногти. А затем – о сладкий миг! – схватить и вырвать из постели мальчика, у которого еще не пробился пушок над верхней губой, и, пожирая его глазами, сделать вид, будто хочешь откинуть назад его прекрасные волосы и погладить его лоб! И наконец, когда он совсем не ждет, вонзить длинные ногти в его нежную грудь⁴, но так, чтобы он не умер, иначе как потом насладиться его муками? Из раны потечет кровь, ее так приятно слизывать, еще и еще раз, а мальчик все это время – пусть бы оно длилось вечно! – будет плакать. Нет ничего лучше этой горячей крови, добытой так, как я сказал, – ничего, кроме разве что его же горько-соленых слез. Да разве тебе самому не случалось попробовать собственной крови, ну хотя бы лизнуть ненароком порезанный палец? Она так хороша, не правда ль, поскольку не имеет вкуса. Теперь припомни, как однажды, когда тебя одолевали тягостные мысли, ты спрятал скорбное, мокрое от текущей из глаз влаги лицо в раскрытой ладони, а затем невольно поднес эту ладонь, эту чашу, трясущуюся, как бедный школьник, что затравленно смотрит на своего бессменного тирана, – ко рту, поднес и жадно выпил слезы? Они так хороши, не правда ли, остры, как уксус. Как будто слезы самой любящей из женщин; и все же детские слезы еще приятней на вкус. Ребенок не предаст, ибо не ведает зла, а женщина, пусть и любящая, предаст непременно (я сужу, опираясь на логику вещей, потому что сам не испытал ни любви, ни дружбы, да, верно, никогда и не принял бы ни того, ни другого, по крайней мере, от людей). Так вот, если собственные кровь и слезы тебе не претят, то отдавай, отдавай без опаски крови отрока. На то время, пока ты будешь терзать его трепещущую плоть, завяжи ему глаза, когда же вдоволь натешись криками, похожими на судорожный хрип, что вырывается из глотки смертельно раненных на поле брани, тогда мгновенно отстранись, отбеги в другую комнату и так же шумно ворвись обратно, как будто лишь сию минуту явился ему на помощь. Развяжи его отекающие руки, сними повязку с его смятенных глаз и снова слизни его кровь и его слезы. Какое непритворное раскаяние охватит тебя! Божественная искра, таящаяся в каждом смертном, но оживающая так редко, вдруг ярко вспыхнет – увы, слишком поздно! Растрогается сердце и изольет потоки сострадания на невинно обиженного отрока: «О бедное дитя! Терпеть такие жестокие муки! Кто мог учинить над тобою неслыханное это преступление, какому даже нет названья! Тебе, наверно, больно! О, как мне жаль тебя! Родная мать не ужаснулась бы больше, чем я, и не вспылала бы большей ненавистью к твоим обидчикам. Увы! Что такое добро и что такое зло! Быть может, это проявления одной и той же неутолимой страсти к совершенству, которого мы пытаемся достичь любой ценой, не отвергая даже самых безумных средств, и каждая попытка заканчивается, к нашей ярости, признанием собственного бессилия. Или все-таки это вещи разные? Нет... меня куда больше устраивает соприродность, иначе что станется со мною, когда пробьет час последнего суда! Прости меня, дитя, вот пред твоими чистыми, безгрешными очами стоит тот, кто ломал тебе кости и сдирал кожу – она так и висит на тебе лохмотьями. Бред ли больного рассудка или некий неподвластный воле глухой инстинкт, – такой же, как у раздирающего клювом добычу орла, толкнули меня на это злодеянье, – не знаю, но только я и сам страдал не меньше того, кого мучил! Прости, прости меня, дитя! Я бы хотел, чтобы, окончив срок земной жизни, мы с тобою, соединив уста с устами и слившись воедино, пребывали в вечности. Но нет, тогда я не понес бы заслуженного наказания. Пусть лучше так: ногтями и зубами ты станешь разрывать мне плоть – и эта пытка будет длиться вечно. А я

⁴ ... вонзить длинные ногти в его нежную грудь... – первая из множества буффонно-садистских сцен у Лотреамона. Нечто подобное описанному в данной строфе встречается в «Истории Жюльетты» Маркиза де Сада (1797). Возможно также, существует связь этих строк со стихотворением Бодлера «Благословение». Бодлер вообще оказал значительное влияние на Лотреамона. Когда ж наскучит мне весь этот фарс нелепый, Я руку наложу покорному на грудь, И эти когти вмиг, проворны и свирепы, Когтями гарпии проложат к сердцу путь.

для совершения сей искупительной жертвы украшу свое тело благоуханными гирляндами; мы будем страдать вместе: я от боли, ты – от жалости ко мне. О светлокудрый отрок с кротким взором, поступишь ли так, как я сказал? Ты не хочешь, я знаю, но сделай это для облегчения моей совести». И вот, когда закончишь эту речь, получится, что ты не только надругался над человеком, но и заставил его проникнуться к тебе любовью – а слаще этого нет ничего на свете. Что же до мальчугана, ты можешь поместить его в больницу – ведь ему, калеке, не на что будет жить. И все еще станут превозносить твою доброту, а когда ты умрешь, к ногам твоей босоногой статуи со старческим лицом свалят целую кучу лавровых венков и золотых медалей. О ты, чье имя не хочу упоминать на этих, посвященных праведности злодеяния, страницах, я знаю, что до сих пор твое всепрощающее милосердие было безгранично, как вселенная. Но ты еще не знал меня!

[7] Я заключил союз с проституцией, чтобы сеять раздор в семействах. Помню ночь, когда свершился сей пагубный сговор. Я стоял над некой могилой. И услышал голос огромного, как башня, сияющего в темноте червя: «Я посвечу тебе. Прочти, что тут написано. Не я, а тот, кто всех превыше, так велит». И все вокруг залил кровавый свет, такой зловещий, что у меня застучали зубы и беспомощно повисли руки. Прислонившись, чтобы не упасть, к полуразрушенной кладбищенской стене, я прочитал: «Здесь покоится отрок, погибший от чахотки, его история тебе известна. Не молись за него». Не у многих, верно, хватило бы духу выдержать такое. Между тем, ко мне приблизилась и упала к моим ногам прекрасная нагая женщина. «Встань», – произнес я и протянул ей руку, как брат, намеревающийся задушить сестру. И сказал мне сияющий червь: «Возьми камень и убей ее». – «За что?» – спросил я. А он: «Берегись, ты слаб, а я силен. Имя той, что простерта здесь, Проституция». И я почувствовал, как к горлу подступили слезы, и ярость захлестнула сердце, и неизведанная сила разлилась по жилам. Взявшись за огромный камень, я напряг все жилы, поднял его и водрузил себе на плечо. Затем, не выпуская камня, влез на вершину самой высокой горы и оттуда обрушил глыбу на червя и раздавил его. Так что голова его ушла в землю на человеческий рост, а глыба подскочила на высоту полдюжины церквей и вновь упала прямо в озеро, пробив в его дне исполинскую воронку, в которой в тот же миг забурилась отхлынувшая от берегов вода. Кровавый свет угас, покой и темнота воцарились на земле. «Горе тебе! Что ты сделал?» – вскричала нагая красавица. «Мне больше по душе не он, а ты, – ответил я, – ибо несчастье вызывает во мне сострадание. Не твоя вина, что Вечный Судия тебя такой создал». – «Настанет час, когда и люди воздадут мне по справедливости – вот все, что я могу сказать. Пока же дай мне удалиться, укрыть мою неутолимую печаль на дне морском. На всем свете не презираешь меня один лишь ты, да еще кошмарные чудовища, что водятся там, в мрачных глубинах. Ты добр. Прощай же, единственный, кто любил меня!» – «Прощай! Прощай! Я буду любить тебя вечно!.. Отныне отрекаюсь от добродетели». И потому, о люди, услышав, как студеной ветер воет над морями и над сушей, над большими, давно скорбящими обо мне городами и над полярными пустынями, скажите: «То не Божье дыхание пролетает над землею, то тяжкий вздох Блудницы, смешавшийся со стоном уроженца Монтевидео»⁵. Запомните это, дети мои. И преклоните в милосердии своею колена, и пусть все люди, которых больше на земле, чем вшей, воссылают к небесам молитвы.

[8] Кому хоть раз случалось провести ночь на пустынном морском берегу, тот замечал, как желтый, призрачный, туманный лунный свет причудливо преобразует весь пейзаж. Как ползут, бегут, сплетаются и замирают распластанные по земле тени деревьев. Когда-то, в далекую пору крылатой юности, эта фантазмагория пленяла меня, навевала грезы, теперь же приелась. С унылым стоном треплет листья ветер, зловещим, леденящим душу басом причитает

⁵ ... уроженца Монтевидео – Имеется в виду сам автор: Изи́дор Дюка́сс был родом из Монтевидео.

филин. В тот час во всех дворовых псов округи вселяется безумье⁶; одичав, сорвавшись с цепи, они несутся без оглядки прочь. Но вдруг, застыв как вкопанные, тревожно озираются по сторонам горящими глазами и, подобно слонам, что в смертный миг отчаянным усилием поднимают головы с беспомощно висящими ушами и вытягивают вверх хоботы, – собаки поднимают головы, с такими же беспомощно висящими ушами, вытягивают шеи и лают, лают... то как плач голодного ребенка звучит их лай, то как вопль подбитого кота на крыше, то как стенанья роженицы, то как предсмертный хрип в чумном бараке, то как божественное пенье юной девы; псы воют на звезды севера, запада, юга и востока, на луну, на горы, застывшие вдали мрачными громадами, на холодный ветер, что наполняет их грудь и обжигает красное нутро ноздрей; на ночное безмолвие, на сов, что со свистом прочерчивают во тьме дуги, едва не касаясь крыльями собачьих морд и унося в клювах лягушек и мышей, живую, лакомую пищу для птенцов; на вора, что скачет во весь опор подальше от ограбленного дома; на змей, скользящих в стеблях папоротника и заставляющих псов скалить зубы и злобно ошетиливаться; на собственный лай, что пугает их самих; на жаб, которых звучно цапают зубами (а кто велел этим тварям вылезать из болота?); на ветки, что скрывают столько тайн, непостижимых для собак, в которые они пытаются проникнуть, впиваясь умными глазами в колышущуюся листву; на пауков, что зацепились и повисли на их долговязых лапах или спасаются бегством, карабкаясь вверх по древесным стволам; на воронов, что маялись весь день, ища, чем поживиться, а сейчас, голодные и чуть живые, разлетаются по гнездам; на береговые скалы; на разноцветные огни, что зажигаются на мачтах невидимых судов; на ропот волн; на рыбин, что, резвясь, выпрыгивают из воды, мелькают черными горбами и вновь уходят вглубь; и наконец на человека, который обратил их в рабство. Но вот они снова срываются с места и летят напропалую, кровавая лапы, через поля, овраги, вдоль дорог, по кочкам, рывинам, по острым камням, как одержимые, как будто неумная жажда гонит их на поиски прохладного источника. Протяжный вой полнит ужасом округу. Горе запоздалому путнику! Псы, прислужники смерти, набросятся, вопьются острыми клыками, загрызут – что-что, а зубы у собак отменные! – сожрут, давясь кровавыми кусками. Даже дикие звери в страхе умчатся прочь, не смея присоединиться к жуткой трапезе. А после нескольких часов такого безумного бега псы, изнуренные, вывалив из пасти языки, в остервенении набросятся друг на друга и в мгновение ока разорвут друг друга в клочья. Но это не просто жестокость... Я помню, как однажды, глядя на меня остекленевшими глазами, матушка сказала: «Когда услышишь, лежа в постели, лай псов поблизости, накройся поплотнее одеялом и не смейся над их безумьем, ибо ими владеет неизбывная тоска по вечности, тоска, которой томимы все: и ты, и я, и все унылые и худосочные жители земли. Но это зрелище возвышает душу, и я позволяю тебе смотреть из окна». Я свято чту завет покойной матери. Меня, как этих псов, томит тоска по вечности... тоска, которой никогда не утолить! Если верить тому, что мне говорили, я – сын мужчины и женщины. Странно... Мне казалось, я не столь низкого происхождения. А впрочем, какая разница? Будь на то моя воля, я бы уже предпочел быть сыном прожорливой, как смерч, акулы и кровожаднейшего тигра – тогда во мне было бы меньше злобы. Эй вы, глазающие на меня зеваки, держитесь-ка подальше: мое дыханье ядовито! Еще никто не видел воочию зеленых морщин на моем челе, моего костистого лица, похожего на рыбий скелет, или на каменистую морену, или на горный кряж – из тех, где я любил бродить, когда седина еще не убеляла мою голову. Ибо, когда грозowymi ночами я, одинокий, как валун посреди большой дороги, с горящими глазами и развевающимися на ветру волосами, приближаюсь к жилищам людей, то закрываю ужасное свое лицо бархатным платком, черным, как сажа в трубе, дабы чьи-нибудь глаза не узрели уродства, которым с ухмылкой торжествующей ненависти заклеил меня Всевышний. По утрам, когда показывается око вселенной, на

⁶ ... во всех дворовых псов округи вселилось безумье... – Французские исследователи отмечают близость следующей ниже сцены к стихотворению Ш. Леконт де Лиля «Воюющие псы». В некоторых местах Лотреамон повторяет де Лиля почти дословно.

целый мир отверстие с любовью⁷, лишь мне отрады нет; забившись в глубину своей излюбленной пещеры, спиной к свету, не отрывая глаз от темных недр, я упиваюсь отчаянием, словно терпким вином, и что есть силы раздираю собственную грудь. Но нет, я не безумен! Нет, я не единственный страдалец! Нет, я все еще дышу! Бывает, смертник перед казнью ощупывает шею и поводит головою, представляя, что с ней станет там, на эшафоте, – так и я, попирая ногами соломенное ложе, стою часами, круг за кругом верчу головой, а смерть все не идет. В минуту передышки, когда, устав вращать головой все в одну и ту же сторону, я останавливаюсь, чтобы начать вновь – в другую, я успеваю через щели густо сплетенных ветвей взглянуть на волю – и ничего не вижу! Ничего... лишь круговорот полей, деревьев и четки птичьих стай, перечеркнувших небо. Мутится кровь, мутится разум... И чья-то беспощадная десница все бьет и бьет по голове, как тяжким молотом по наковальне.

[9] Громко, торжественно, ровно, без лишнего шума намерен я продекламировать сию строфу. Приготовьтесь же внимать ей, но берегитесь: она разбередит вам душу, оставит в ней глубокий и неизгладимый шрам. Не думайте, будто я при последнем издыхании – еще не истлела плоть моя, еще не сморщилось от дряхлости лицо. А потому сравнение с лебединой песнью не годится: перед вами не лебедь, испускающий дух, а страшное создание; наружность его безобразна – ваше счастье, что вы не видите его лица, – но много мерзостнее душа его. Отсюда, впрочем, еще не следует, что я преступен... Ну, да хватит об этом. Я видел океан совсем недавно, недавно ходил по корабельной палубе, и воспоминания мои так свежи, точно все это было вчера. Однако я буду сдержан, сохраняйте хладнокровие и вы, если, конечно, сможете, читая эти строки, – уж я жалею, что принялся писать их, – и не краснейте от стыда за человека. О волоокий спрут⁸, ты, чья душа неотделима от моей, ты, самое прекрасное из всех земных существ, ты, властелин четырехсот рабынь-присосок, ты, в ком так гармонично, естественно, счастливо сочетается божественная прелесть и притягательная сила, зачем ты не со мною, спрут! Как славно было бы сидеть с тобою на скалистом берегу, прижавши грудь к твоей груди – твоя как ртуть, моя как алюминий, – и вместе наслаждаться дивным видом!

О древний Океан, струящий хрустальные воды, ты словно испещренная лазоревыми рубцами спина бедняги-юнга; ты огромный синяк на горбу земного шара – вот удачное сравнение! Не зря твой неумолчный стон, который часто принимают за беззаботный лепет бриза, пронзает наши души и оставляет в них незаживающие язвы, и в каждом, кто пришел вкушать твоих красот, ты оживляешь память о мучительном начале жизни, когда впервые познаем мы боль, с которою уже не расстанемся до самой смерти. Привет тебе, о древний Океан!

О древний Океан, твоя идеальная сфера тешит взор сурового геометра⁹, а мне она напоминает человеческие глазки: маленькие, как у свиньи, и выпученные, как у филина. Однако человек во все времена мнил и мнит себя совершенством. Подозреваю, что одно лишь самолюбие заставляет его твердить об этом, а в глубине души он сам не верит в подобный вздор и знает, как он уродлив, иначе почему с таким презрением смотрит на собратьев? Привет тебе, о древний Океан!

О древний Океан, ты символ постоянства, ты испокон веков тождествен сам себе. Твоя суть неизменна, и если шторм бушует где-то на твоих просторах, то в других широтах гладь невозмутима. Ты не то, что человек, который остановится поглазеть, как два бульдога рвут друг друга в клочья, но не оглянется на похоронную процессию; утром он весел и приветлив, вечером – не в духе, нынче смеется, завтра плачет. Привет тебе, о древний Океан!

⁷ ... око вселенной, на целый мир отверстие с любовью... – цитата из «Манфреда» Байрона (1,8).

⁸ О нежноокий спрут... – В первом издании Бой песни здесь стояло имя Жоржа Дазе, школьного друга Дюкасса, упоминавшегося также в других строфах этой песни. Во втором издании от имени остался только инициал, а в каноническом, которое служит источником для перевода, оно заменено названиями отвратительных животных, первое из которых – спрут.

⁹ ... тешит взор сурового геометра... – возможно, намек на строки из эссе Жюль Мишле (1798–1874) «Море» (1,4).

О древний Океан, в тебе, возможно, таится нечто, сулящее великую пользу человечеству. Даровал же ты ему кита¹⁰. Но из скромности ты оберегаешь от дотошных натуралистов тайны твоих сокровенных глубин. Не то, что человек, расхваливающий себя по каждому пустяку. Привет тебе, о древний Океан!

О древний Океан, рыбы племени, населяющие твои воды, не клялись друг другу в братской любви. Каждый вид живет сам по себе, и если такое обособление кажется странным, то лишь на первый взгляд, различие в повадках и в размерах вполне его объясняет. Люди тоже живут порознь, но никакие естественные причины их к этому не побуждают, хотя бы их скопилось миллионов тридцать на одном клочке земли – никому нет дела до соседа, и каждый словно пустил корни в своем углу. Все, от мала до велика, живут, как дикари в пещерах, и лишь изредка наведываются к сородичам, живущим точно так же, забившись в норы. Идея объединить все человечество в одну семью не что иное, как утопия, уверовать в нее способен лишь самый примитивный ум. При взгляде на твою наполненную соком жизни грудь невольное сравнение приходит в голову, и думаешь о тех родителях – а их немало, – которые, забыв о долге благодарности перед Отцом Небесным, бросают на произвол судьбы своих отпрысков, детей стыда и блуда. Привет тебе, о древний Океан!

О древний Океан, вся масса вод твоих соизмерима только с мощной волей, чьим усилием такая необъятность вещества могла быть вызвана на свет. Тебя не обозреть единым взором. Лишь обращая телескоп на все четыре стороны поочередно, земное зрение способно охватить твою поверхность; так математик, прежде чем решить многоступенчатое уравнение, его рассматривает по частям и после сводит результаты. Пусть человек, стараясь стать тучней, с достойным лучшего употребления упорством усердно поглощает горы пищи. Пусть раздувается, как жалкая лягушка. Потуги тщетны – для него недостижима твоя безмерная величина, по крайней мере, таково мое суждение. Привет тебе, о древний Океан!

О древний Океан, твоя вода горька. Точь-в-точь как желчь, которую так щедро изливают критики на все подряд: будь то искусство или наука. Гения обзовут сумасшедшим, красавца – горбуном. Должно быть, люди очень остро ощущают свое несовершенство, которым на три четверти обязаны самим себе, коли так строго судят. Привет тебе, о древний Океан!

О древний Океан, никакие новейшие приборы, никакие ухищрения человеческой науки пока не позволяют измерить твои бездны – самые длинные, самые тяжелые зонды не достигают дна. Вот рыбы... им доступно то, что запретно человеку. Как часто задавался я вопросом: что легче измерить – бездну влажных недр океана или глубины человеческой души?¹¹ Как часто размышлял об этом, охватив чело руками, на палубе бороздящего океан корабля, меж тем как луна подпрыгивала и болталась между мачтами¹², как мячик, – размышлял, позабыв обо всем, кроме этого непростого вопроса! Так что же глубже и недоступнее: океан или сердце человека? И если тридцать прожитых на свете лет дают хоть какое-то право на собственное суждение о сем предмете, то я сказал бы, что, как ни велики глубины океана, но человеческое сердце несравненно глубже. Знал я праведных людей. Они умирали, дожив до шестидесяти, и перед смертью непременно восклицали, что творили лишь добро на этой земле, что были милосердны, и это-де так просто, и это может каждый. Но кто поймет, почему любовники, еще вчера обожавшие друг друга, сегодня расходятся в разные стороны из-за какого-то неверно

¹⁰ Даровал же ты ему кита – Тот же Мишле говорит, что охота на китов способствовала расширению географических познаний человека (111,2).

¹¹ ... что легче измерить – бездну влажных недр океана или глубину человеческой души? – Бросается в глаза сходство этого пассажа и стихотворения Бодлера «Человек и Море»: Кто тайное твоё, о Человек, поведал? Ктоклады влажных недр исчислил и разведал, О Море?..

¹² ... луна подпрыгивала и болталась между мачтами... – Лотреамон почти дословно повторяет выражение Шатобриана (см. «Путь из Парижа в Иерусалим»).

истолкованного слова, и обоих терзает жажда мести, и оба кичатся гордым одиночеством? Такие чудеса повторяются каждый день, но не становятся понятнее.

Кто поймет, почему нас радуют не только беды человеческие вообще, но и несчастья самых близких друзей, хотя они же нас и огорчают? И наконец главное: человек лицемерен, он говорит «да», а думает «нет». Оттого-то все чада человечества так полны любви друг к другу. О да, психологии еще предстоит немало открытий... Привет тебе, о древний Океан!

О древний Океан. Как ты силен!¹³ На собственном горьком опыте убедились в этом люди. Они испробовали все, до чего только мог додуматься их изобретательный ум, но покорить тебя так и не смогли. И были вынуждены признать над собой твою власть. Они столкнулись с силой, их превосходящей. И имя этой силы – Океан! Они трепещут пред тобою, и страх рождает в них почтение. Резво, легко и изящно играешь ты с их железными махинами, кружа их, словно в вальсе. Послушные твоим капризам, они взмывают вверх, ныряют в глубь зыбей так лихо, что любого циркового акробата разобрала бы зависть. И счастье, если тебе не вздумается затянуть их насовсем в кипящую пучину и прямоком отправить в свою утробу – для этого не нужно ни дорог, ни рельсов, – чтоб поглядели, каково живется рыбам, да заодно составили бы им компанию. «Но я умнее Океана», – скажет человек. Что ж, возможно, и даже наверное так, но человек страшится Океана больше, чем тот страшится человека, и в этом нет сомнений. Сей патриарх, свидетель всего, что совершалось на нашей висящей в пространстве планете от начала времен, снисходительно усмехается при виде наших морских «битв народов». Сначала соберется сотня рукотворных левиафанов. Потом надсадные команды, крики раненых, пушечные выстрелы – сколько шуму ради того, чтобы скрасить несколько мгновений вечности. Наконец представление окончено, и Океан глотает все его атрибуты. Какая бездонная глотка! Она уходит черным жерлом в бесконечность.

А вот и эпилог: отбившийся от стаи утомленный лебедь пролетает над местом, где разыгралась эта вздорная и нудная комедия, и, не замедляя лета, думает: «Верно, у меня неладно со зрением. Только что тут внизу я видел какие-то черные точки, моргнул – а их уже нет». Привет тебе, о древний Океан!

О древний Океан, великий девственник!¹⁴ Окидывая взором величавую пустыню своих неспешных вод, ты с полным правом наслаждаешься природною своею красотою и теми искренними похвалами, что расточаю тебе я. Величавая медлительность – лучшее из всего, чем наградил тебя Создатель, мерно и сладостно твое дыхание, исполненное безмятежности и вечной, несокрушимой мощи; загадочный, непостижимый, без усталости стремишь ты чудо-волны во все концы своих владений. Они теснятся друг за другом параллельными грядами. Едва откажется одна, как ей на смену уж растет другая, закипает пеной и тут же тает, с печальным ропотом, который словно бы напоминает: все в этом мире эфемерно, точно пена. И люди, живые волны, умирают с таким же неизбежным однообразием, но их смерть не украшает даже пенный всплеск. Порою странница-птица доверчиво опустится на волны и повторяет их изящно-горделивые изгибы, пока уставшие крылья не окрепнут вновь, чтобы нести ее дальше. Хотел бы я, чтоб в человеке был хоть слабый отблеск, хоть тень от тени твоего величия. Желая этого от души и от души преклоняюсь пред тобою, но понимаю, что это значит желать слишком много. Твой высокий дух, воплощение вечности, велик, как мысль философа, как любовь земной женщины, как дивная прелесть летящей птицы, как мечта поэта. Ты прекраснее самой ночи. Послушай, Океан, хочешь быть моим братом? Бушуй же, Океан... еще... еще сильнее, чтобы я мог сравнить тебя с Божиим гневом; выпусти белесые когти и расцарапай собственную

¹³ О древний Океан! Как ты силен! – В этой строфе слышны отголоски Байрона («Паломничество Чайльд-Гарольда», IV, 180–181) и Гюго («Океан», «Открытое море» из сборника «Легенда веков»).

¹⁴ ... великий девственник! – Точно так же «великим, вечным девственником» назвал Шатобриан Господа Бога в первом издании «Гения христианства». Это неудачное выражение было подхвачено недоброжелателями поэта и долго еще употреблялось с издевкой по отношению к нему.

грудь... вот так. О страшный Океан, гони вперед воинство буйных волн; один лишь я постиг тебя и простираюсь пред тобою ниц. Фальшивое величие человека не внушает мне благоговенья, лишь пред тобою я благоговею. Когда я вижу, как грозно ты шествуешь, увенчанный пенной короной, в сопровождении толпы придворных в белых кружевах, все подчиняя своей магической и страшной силе; когда слышу рев, что вырывается из недр твоих, словно исторгнутый раскаянием в каких-то неведомых грехах, – глухой и неумолчный рев, который повергает в ужас и заставляет трепетать людей, хотя бы даже они смотрели на тебя с безопасного берега, – тогда я понимаю, что не вправе посягать на равенство с тобою.

Что ж, равняться с тобой не стану, но я бы отдал тебе всю мою любовь (никто не ведает, сколько ее скопилось во мне, вечно тоскующем по красоте!), когда бы ты не наводил меня на безрадостные мысли о моих соплеменниках, столь смехотворно выглядящих с тобою рядом: ты и они – что может быть комичнее подобного контраста! – вот почему я не могу любить тебя, вот почему ненавижу тебя. Так отчего же вновь и вновь меня влечет к тебе и тянет броситься в твои объятия и освежить твоим прикосновением мое пылающее чело? Я жажду знать о тебе все, жажду проникнуть в неведомый мне тайный смысл твоего бытия. Скажи, быть может, ты обитель Князя Тьмы? Скажи, скажи мне, Океан (мне одному, не пугая наивные души, живущие в плену иллюзий), уж не дыханье ль Сатаны – причина страшных бурь, что заставляют твои соленые воды взметаться чуть не до небес? Скажи – мне будет отрадно узнать, что ад так близок. Еще одна строфа – и конец моему гимну. Итак, мне остается воздать тебе хвалу в последний раз и распрощаться! О древний Океан, струящий хрустальные волны... Нет, я не в силах продолжать, слезы застилают глаза, ибо чувствую: настало время вернуться в грубый мир людей... но делать нечего! Соберемся же с духом и, как велит долг, свершим предначертанный нам земной путь. Привет тебе, о древний Океан!

[10] Пусть в мой последний час (а я пишу эти строки на смертном одре) вокруг меня не будет никаких духовных пастырей. Посреди ревающего моря или стоя на вершине горы хочу я умереть... но не обращаю глаз к небу: зачем? – я знаю, мне суждено сгинуть навеки. А если бы это было и не так, – надежды на пощаду для меня все равно нет. Но кто это, кто открывает дверь? Я приказал, чтобы никто не смел сюда входить. Кто б ни был ты, ступай отсюда прочь, но, может быть, ты хотел увидеть на моем лице – лице гиены (сравнение неточно, ибо гиена много милевиднее, чем я) – страданье или страх, – тогда приблизься и разуверься. Жуткая зимняя ночь стоит над миром – ночь, когда буйствуют враждебные стихии, когда в ужасе трепещут смертные, когда юноша, если он таков, каким был в молодости я сам, замышляет жестокую расправу над своим другом. И воет ветер... твой голос, ветер, унылый вой, наводит тоску на человека; человек и ветер – божьи дети; в последний миг на этом свете, о ветер, промчи меня, как тучу, на твоих скрипучих крыльях, – пронеси над миром, так жадно ждущим моей смерти. Чтоб я тайком полюбовался напоследок обилием примеров злобы человеческой (приятно, оставаясь невидимкой для собратьев, подглядывать, чем они занимаются).

Орел и ворон, и бессмертный пеликан, и дикая утка, и вечный странник-журавль – все встрепаются в поднебесье, задрожат от холода и при вспышках молний увидят, как проносятся чудовищная, ликующая тень. Увидят и замрут в недоуменье. И все земные твари: гадюка, пучеглазая жаба, тигр, слон; и твари водяные: киты, акулы, молот-рыбы, бесформенные скаты и клыкастый морж – воззрятся на сие вопиющее нарушение законов природы. А человек, стная, трепеща, падет ниц. Уж не потому ли, что я превосхожу вас всех в жестокости, против которой я сам бессилен, ибо она врожденная, – не потому ли вы простерлись предо мной во прахе? Иль я кажусь вам невиданным доселе небесным знамением, вроде роковой кометы, кропящей кровью тьму кромешной ночи? (И правда, из моего огромного и черного, как грозовая туча, тела на землю льется кровь.) Не бойтесь, дети мои, я не прокляну вас. Велико зло, что вы причинили мне, велико зло, что причинил вам я, – слишком велико, чтобы оно могло быть пред-

намеренным. Вы шли своим путем, я – своим, но одинаково порочны оба пути. Столкновение двух подобных сил было неминуемо и оказалось роковым для вас и для меня. Тут люди осмелеют, приподнимут головы и, вытягивая шеи, как улитка выставляет наружу рожки, взглянут вверх, узнать, кому принадлежит эта речь. И в тот же миг их лица исказятся такою жуткою гримасой, вспыхнут такою бешеной злобой, что испугался бы сам волк. Точно подброшенные гигантской пружиной, вскочат они на ноги. И такой тут поднимется вопль, такая посыплется брань! Узнали! Вот и зверье включилось в хор людей, со всех сторон несется рев, и рык, и вой, и клекот! И вековой вражды меж человеком и диким зверем как не бывало; она обернулась ненавистью ко мне; а общие чувства, как известно, сближают. Выше, выше поднимите меня, ветры – я страшусь коварства моих врагов. Я нагляделся вдосталь на это необузданное буйство, теперь пора подальше, пора исчезнуть с глаз их... Благодарю тебя, крылатый подковонос¹⁵, благодарю за то, что разбудил меня шорохом своих перепончатых крыльев; увы, я ошибся, моя болезнь была лишь мимолетной хворью, и я с великим сожаленьем возвращаюсь к жизни. Если верить тому, что о тебе говорят, ты прилетел высосать остатки крови из моих жил: как жаль, что не успел!

[11]¹⁶ Вечер, горит настольная лампа, семейство в сборе.

– Сынок, подай мне ножницы, они на стуле.

– Их нет там, матушка.

– Ну, так сходи поищи в соседней комнате... Помнишь, милый супруг, когда-то мы молили Бога послать нам дитя, чтобы заново прожить с ним жизнь и обрести опору в старости?

– Помню. И Бог исполнил нашу просьбу. Да, что и говорить, не нам жаловаться на судьбу. Напротив, мы неустанно благословляем милость Провиденья. Красотою наш Эдуард пошел в мать.

– А мужественностью – в отца...

– Вот ножницы, матушка; я нашел их.

И мальчик вернулся к прерванным занятиям... Но вот в дверях возник какой-то силуэт, кто-то стоит и глядит на тихую семейную сцену.

– Что я вижу! На свете столько недовольных своей долей. Чему же радуются эти? Изыди, Мальдорор, прочь от мирного очага, тебе не место здесь.

И он ушел.

– Не понимаю, что со мною, все чувства, кажется, восстали и смешались в груди. Не знаю, почему мне смутно и тревожно, и словно какая-то тяжесть нависла над нами.

– Со мною то же самое, жена; боюсь, к нам подступает беда. Но будем уповать на Бога, Он наш заступник.

– О матушка, мне тяжело дышать, и голова болит.

– Тебе тоже плохо, сынок? Дай я смочу тебе уксусом лоб и виски.

– Ах нет, матушка...

И он без сил откинулся на спинку стула.

– Во мне творится что-то непонятное. Все не по мне, все вызывает раздраженье.

– Как ты бледен! О, я предчувствую: еще до наступления утра случится что-то страшное, что ввергнет всех нас в пучину бедствий!

Чу! Где-то вдали протяжные крики мучительной боли...

– Мой мальчик!

– Ах, матушка... страшно!

¹⁵ Подковонос – разновидность летучих мышей.

¹⁶ Строфа (11) – В первом издании первой песни эта строфа представляла собой драматическую сцену с четырьмя персонажами: Отец, Мать, Дитя и Мальдорор. Нетрудно уловить сходство ее со знаменитой балладой Гете «Лесной царь».

– Скажи скорее, тебе больно?

– Не больно, матушка... Неправда, больно!

В каком-то отрешенном изумлении заговорил отец:

– Такие крики, бывает, раздаются слепыми беззвездными ночами. И хоть мы слышим их, но сам кричащий далеко отсюда, быть может, мили за три, а ветер разносит его стоны по окрестным городам и селам. Мне и раньше рассказывали о таком, но еще никогда не случалось проверить, правда ли это. Ты говоришь о несчастье, жена, но нет и не было с тех пор, как стоит этот мир, никого несчастнее, чем тот, кто ныне тревожит сон своих собратьев...

Чу! Где-то вдали протяжные крики мучительной боли.

– Дай Бог, чтобы тот край, где он родился и откуда был изгнан, не поплатился тяжкими бедами за то, что дал ему жизнь. Из края в край скитается он, отринутый всеми. Одни говорят, будто он с молодых лет одержим некой манией. Другие – будто неимоверная жестокость дана ему от природы, будто он сам ее стыдится, а его отец и мать умерли от горя. Иные же уверяют, что причиною всему прозвище, которое дали ему еще в детстве товарищи и которое озлобило его на всю жизнь. Обида была так сильна, что он счел это оскорбление неоспоримым доказательством человеческой жестокости, свойственной людям с малолетства и лишь усиливающейся с возрастом. Прозвали же его ВАМПИРОМ!..

Чу!.. Где-то вдали протяжные крики мучительной боли...

– Говорят, денно и ночно его терзают такие страшные виденья, что кровь струится у него из уст и из ушей; кошмарные призраки обступают его изголовье и, повинувшись некой необоримой силе, то вкрадчиво и тихо, то оглушительно, подобно тысячегласному реву грозной сечи, не зная жалости, твердят и твердят ему все то же ненавистное и неотвязное прозвище, от которого не избавиться до скончания веков. Кое-кто думает, будто он жертва любви или его терзает раскаяние за некое неведомое, скрытое в темном прошлом преступление. Большинство же сходится на том, что его, как некогда Сатану, снедает непомерная гордыня и он притязает на равенство с самим Господом.

Чу!.. Где-то вдали протяжные крики мучительной боли...

– Увы, мой сын, эти страшные откровения не для твоего невинного слуха, и я надеюсь, ты никогда не станешь таким, как этот человек.

– Говори же, Эдуард, скажи, что никогда не станешь таким, как этот человек.

– Любимая матушка, клянусь тебе, родившей меня на свет, что никогда, если только имеет какую-то силу чистая клятва отрока, никогда не стану таким.

– Ну, вот и хорошо, сынок, и помни: во всем и всегда ты должен слушаться матери.

Далекие стоны затихли.

– Жена, ты кончила свою работу?

– Осталось несколько стежков на рубаше, хоть мы и так сегодня засиделись допоздна.

– И я еще не дочитал главу. Давай же, пока есть масло в лампе, оба завершим труды.

– Да, если только Божьей волей останемся в живых! – воскликнул ребенок.

– Идем со мною, чистый ангел, идем, и тебе не придется работать, ты будешь с утра до вечера гулять на цветущем лугу. Будешь жить в моем чертоге с серебряными стенами, золотыми колоннами и алмазными дверями. Будешь ложиться спать, когда захочешь сам, под звуки чудесной музыки, и обходиться без молитвы. А утром, когда светозарное солнце заблещет над миром, когда взвоется ввысь звонкая трель жаворонка, ты будешь нежиться в постели, пока не надоест. Будешь ступать по мягким коврам, вдыхать нежнейший аромат цветов.

– Пора дать отдых и уму, и телу. Встань, достойнейшая мать семейства, встань, мощною стопою попирая пол. Твои пальцы одеревенели от работы – отложи же иглу. Во всем полезна мера, чрезмерное усердие вредно.

– Ты так чудесно заживешь! Я подарю тебе волшебное кольцо с рубином: повернешь камнем внутрь – и станешь, как сказочный принц, невидимкой.

– Спрячь, о супруга, в недра шкафа орудия твоих повседневных трудов, а я сверну свои бумаги.

– Когда же повернешь рубин обратно, ты, юный чародей, вновь обретешь природное обличье. Вот видишь, как я люблю тебя, как стараюсь услужить.

– Прочь, кто б ты ни был, отпусти мои плечи...

– Сынок, слишком рано ты забылся в сладких грезах: еще не прочтена совместная вечерняя молитва, еще одежда не сложена в порядке на стуле... Встань же на колени! О предвечный Господь, печать Твоей безмерной доброты лежит на всем творении, на каждой малости.

– Неужто тебя не прельщает хрустальный ручей, в котором снуют без усталости рыбки: голубые, серебристые, красные? Ты будешь ловить их такой красивой сетью, что они сами станут заплывать в нее, покуда не наполнят до отказа. Вода в том ручье так прозрачна, что видны лежащие на дне, блестящие и гладкие, как мрамор, валуны.

– Матушка, родная, погляди, какие когти! Мне страшно, но совесть моя чиста, мне не в чем упрекнуть себя.

– Вот мы простерлись ниц у ног Твоих, благоговея пред Твоим величием. Если же закрадется нам в душу дерзкая гордыня, мы тотчас же с презрением отбросим ее прочь, как горький плод, и не дрогнув, принесем Тебе в жертву.

– Ты будешь купаться в ручье рядом с маленькими подружками, они будут обнимать тебя нежными ручками. А когда выйдешь на берег, украсят тебя венками из роз и гвоздик. Пленительные существа – за спинами у них дрожат прозрачные крылышки, как у бабочек; прелестные головки, как облачком, окружены длинными кудрями.

– Будь твой дворец прекрасней всех сокровищ мира, я не покину отчий кров и не пойду с тобою. Однако ты, скорее всего, лжешь, потому-то и говоришь так тихо, чтобы никто тебя не услышал. Бросать родителей – грех. И я не стану неблагодарным чадом. Ну, а твои хваленые подружки, уж верно, не красивее, чем глаза моей матушки.

– Славим Господа ныне и присно, ежедневно и ежечасно. Так было и так будет, покуда, послушные велению Твоему, мы не покинем эту землю.

– Покорные каждой твоей прихоти, они станут во всем угождать тебе. Захочешь ли птицу, поющую днем и ночью – получай. Захочешь колесницу из снега, способную домчать тебя до солнца, – получай и колесницу. Чего только не добудут они для тебя. Даже огромного воздушного змея, что спрятан на луне; к его хвосту привязаны за шелковые нити все птицы, какие только есть на свете. Подумай же и соглашайся, лучше соглашайся.

– Делай, что хочешь, но я не прерву молитву, чтобы позвать на помощь. Ты бесплотен – я не могу отстранить тебя рукою, – но знай: я не боюсь тебя.

– Все суетно пред лицом Твоим, не меркнет лишь святое пламя непорочной души.

– Подумай хорошенько, не то придется горько пожалеть.

– Отец небесный, отвори, о отвори несчастье, нависшее над очагом!

– Так ты, злой дух, все не уходишь?

– Храни добрую мою супругу, опору и утешение во всех житейских горестях...

– Ну что ж, раз ты не хочешь, будешь стенать и скрежетать зубами, как висельник.

– ...и любящего сына, чьих нежных уст едва коснулось своим лобзаньем утро жизни.

– Он душит меня, матушка... Спаси меня, отец... Я задыхаюсь... Благословите!

Подобный грому, грянул злорадный вопль и прокатился по округе, так что орлы – глядите! – оглушенные, падают наземь – их наповал сразила воздушная волна.

– Его сердце не бьется... Мертва и мать, носившая его во чреве. Дитя... его черты так исказились, что я его не узнаю... Жена моя! Мой сын!.. О, где те дни, когда я был супругом и отцом – они ушли давно и безвозвратно.

Недаром наш герой, завидев мирную картину, представшую его очам, решил, что не потерпит такой несправедливости. Знать, сила, которой наделили его духи ада или, вернее, какую он черпает в себе самом, не мнима, и юноша был обречен на гибель до наступления утра.

[12] Тот, кто не ведает слез (ибо привык прятать боль поглубже), огляделся и увидел, что попал в Норвегию.

Здесь, на островах Фероэ¹⁷, он наблюдал охоту за морскими птицами¹⁸: смотрел, как охотники добирались до расположенных на отвесных скалах гнезд, удерживаемые над пропастью длинной, метров в триста, веревкой, смотрел и удивлялся, что им дали столь прочный канат. Что ни говори, то был наглядный пример человеческой доброты, и он не верил собственным глазам. Если бы снабжать охотников веревкой довелось ему, уж он бы непременно надрезал ее в нескольких местах, чтобы она порвалась и человек сорвался прямо в море! Как-то вечером отправился он на кладбище, и любящие совокупляться с трупами недавно похороненных красавиц отроки могли бы подслушать разговор, который мы приводим здесь в отрыве от сопровождавших его действий.

– Эй, могильщик¹⁹, тебе, верно, хочется поговорить со мною? Ведь даже кашалот, когда в пустыне океана появляется корабль, всплывает из глубин и высовывает голову, чтобы поглазеть на него. Любопытство родилось вместе с миром.

– Нет, дружище, мне недосуг болтать с тобою. Уже не первый час луна серебрит мраморные надгробья. В такое время многим являются во сне женские фигуры, закованные в цепи и укутанные в длинный саван, что усеян кровавыми пятнами, как небо звездами. Спящие выпускают тяжелые вздохи, точно смертники перед казнью, и наконец просыпаются, чтобы убедиться, что явь втрое страшнее сна. Я же должен без усталости орудовать заступом, дабы вырыть могилу к утру. А когда занят серьезным делом, отвлекаться не следует.

– Он полагает, будто рыть могилу – серьезное дело! Так ты полагаешь, будто рыть могилу – серьезное дело?

– Когда утомленный пеликан кормит собственной плотью голодных детей своих²⁰, хотя никто не видит его великой жертвы, кроме Всевышнего, который сотворил его таким самоотверженным в укор людям, – это можно понять. Когда влюбленный юноша, застав в объятиях другого ту женщину, что он боготворил, проводит дни наедине с тоской, затворником, куря сигару за сигарой, – это можно понять. Когда ученик обречен долгие годы, из которых каждый тянется, как целая вечность, безвылазно жить в лицейских стенах и подчиняться какому-то презренному плебею, денно и ночью за ним надзирающему, он чувствует, как в нем вскипает живая ненависть и как ее пары заволакивают черной пеленою мозг, готовый, кажется, взорваться. С той минуты, как его заточили в эту тюрьму, и пока не настанет миг освобождения, что с каждым днем все ближе, он томим губительным недугом: лицо желтеет, брови угрюмо сдвигаются, глаза западают. Ночью он лежит без сна и напряженно думает. А днем уносится в мечтах за стены этой кузницы тупиц и предвкушает сладкий миг, когда вырвется на волю или когда его, как зачумленного, вышвырнут из постылого монастыря, – это можно понять. Но рыть могилу значит переступить через границу естества. Думаешь, незнакомец, тревожить заступом эту землю, что всех нас кормит, а после служит мягким ложем и укрывает от зим-

¹⁷ Фероэ – архипелаг в Северном море в 66 км от берегов Норвегии. Принадлежит Дании.

¹⁸ ... наблюдал охоту на морских птиц... – Здесь источник Лотреамона – XVI том популярного во Франции географического альманаха «Magazine pittoresque» («Пестрые страницы»), где детально описана такая охота.

¹⁹ Эй, могильщик... – Сцена вызывает ассоциации с разговором Гамлета и могильщика у Шекспира. В первом издании она также имела форму диалога.

²⁰ ... пеликан кормит собственной плотью голодных детей своих... – намек на известные строки А. де Мюссе: Как только пеликан, в полете утомленный, Туманным вечером садится в тростниках, Птенцы уже бегут на берег опененный... Угрюм и молчалив, среди камней холодных, Он, плотью собственной кормя детей голодных, Сгорает от любви, удерживая стон...

него ветра, столь свирепого в наших холодных краях, легко тому, кто встревоженно ощупывает черепа давно исчезнувших с лица земли, а ныне благодаря ему возвращающихся на свет в таком вот виде, и кто теперь, в сумерках, видит, как на каждом кресте проступают огненные буквы, из которых слагается донныне не разрешенный людьми вопрос: смертна или бессмертна душа. Я всегда почитал Господа Бога и его установления, но если наше земное существование прекращается с нашей смертью, то почему же чуть не каждую ночь на моих глазах открываются все могилы и обитатели их бесшумно поднимают свинцовые крышки, чтобы глотнуть свежего воздуха?

– Передохни-ка. Ты обессилел от волнения, тебя шатает, как былинку, продолжать работу было бы безумием. Давай я заменю тебя, у меня много сил. А ты стой рядом и поправляй меня, если я буду делать не так, как надо.

– Как мускулисты его руки и как легко он роет землю – приятно посмотреть!

– Не мучайся напрасными сомнениями: к этим могилам, которыми кладбище усеяно, как луг цветами – сравнение несколько неточно, – следует подходить, вооружась бесстрастным компасом философии. Пагубные галлюцинации могут возникать и среди бела дня, но чаще всего бывают как раз по ночам. Поэтому в твоих фантастических видениях нет ничего удивительного. Спроси свой рассудок днем, когда он ясен, и он скажет тебе со всею твердостью, что Бог, сотворивший человека, вложивший в него частицу собственного духа, бесконечно милостив и по смерти телесной оболочки забирает этот венец творения в свое лоно. Отчего ты плачешь, могильщик? К чему проливаешь слезы, как женщина? Не забывай: мы все – точно пассажиры носимого по бурному морю корабля со сломанными мачтами, мы все посланы в этот мир для страданий. И это честь для человека, ибо Бог признал его способным превозмочь жесточайшие муки. Подумай и скажи, коль ты не утеряти дар речи, каковым наделены все смертные: когда бы на свете не было страданий, как ты желал бы, то в чем заключалась бы добродетель – идеал, к которому мы все стремимся?

– Что со мною? Не стал ли я другим человеком? На меня повеяло покоем, освежающее дыхание взбудрило душу, подобно тому как весенний ветерок оживляет сердца дряхлых стариков. Кто этот незнакомец? Возвышенные мысли, чудный слог – все обличает человека незаурядного! Какой чарующей музыкой звучит его голос! А речь краше песни. Однако же чем дольше я смотрю на него, тем менее искренним кажется его лицо. Есть что-то в нем, что странным образом противоречит смыслу произносимых слов, хотя, казалось бы, одна лишь любовь к Богу может внушить их. Оно прорезано глубокими морщинами, отмечено неизгладимым шрамом. Откуда этот не по возрасту старящий его шрам? Что это: почетное увечье или позорное клеймо? Почтения или презрения достойны его морщины? Не знаю и боюсь узнать. Но даже если он говорит не то, что думает, мне кажется, он это делает из благородных побуждений, движимый не до конца вытравленным из души состраданием к ближнему. Вот теперь он молчит, задумался – как знать, о чем? – и с удвоенным рвением предается непривычной тяжелой работе. Он весь в поту, но сам не замечает. Его снедает скорбь, с какою не сравнится даже та тоска, которая охватывает нас у колыбели спящего младенца. О Боже, как он сумрачен! Откуда, незнакомец, ты явился? Позволь, я до тебя дотронусь, стерпи прикосновение к твоей особе руки, так редко пожимавшей руки живых людей. Будь что будет, но я узнаю, с кем имею дело. Чудные волосы – лучшие из всех, каких когда-либо касались мои пальцы, уж в волосах-то я бесспорно знаю толк.

– Что тебе? Не видишь – я рою могилу. А беспокоить льва, пока он не насытился, не стоит. Запомни это впредь, коль не знал до сих пор. Ну хорошо, потрогай, если хочешь, но поскорее.

– Только живая плоть может так затрепетать от моего прикосновения, и только прикоснувшись к живой плоти, мог бы так затрепетать я сам. Так, значит, он существует наяву... и я не сплю... Но кто же ты, прилежно роющий за меня могилу, пока я, словно дармоед, сижу

без дела? В такой час все люди спят, если только не жертвуют сном ради ученых штудий. И, уж во всяком случае, сидят по домам за крепко-накрепко запертыми от воров дверями. Все затворяются в уютных спальнях, пока тлеют угли в старинных очагах, расточая последний жар опустевшим гостиным. Но ты не таков, как другие, да и одежда твоя выдает пришельца из далеких краев.

– Рыть глубже нет нужды, хоть я совсем и не устал. Теперь раздень меня и уложи сюда, в могилу.

– Разговор, что ни миг, все чуднее, не знаю, что и отвечать... Верно, это шутка.

– Да, шутка, не принимай моих слов за чистую монету.

Внезапно незнакомец рухнул наземь, могильщик бросился ему на помощь.

– Что с тобой?

– Я обманул, сказав, что не устал; на самом деле я очень утомился, потому и бросил заступ... ведь этот труд мне вновь... не принимай же слов моих за чистую монету.

– Все больше утверждаюсь в мысли, что незнакомец мучится какой-то страшною тоскою. Но сохрани меня Бог расспрашивать его. Пусть лучше я останусь в неведении, мне слишком жаль его. Да он и сам, наверное, не пожелает отвечать: ведь раскрывать перед другим недуги сердца значит терпеть двойную боль.

– Оставь меня, и я покину кладбище, пойду своей дорогой.

– Ты едва стоишь на ногах, ты заблудишься в пути. Простая человечность велит мне предложить тебе мою постель – она груба, но другой у меня нет. Доверься мне, а я не стану домогаться твоей исповеди как платы за гостеприимство.

– О почтеннейшая вошь, о насекомое без крыльев и надкрыльев, когда-то ты горько укоряла меня за бесчувственность, за то, что я не оценил как должно твой тонкий, но скрытный ум, и, возможно, была права: вот и теперь ни малейшей благодарности не ощущаю я к этому малому. Звезда Мальдорора, куда ты поведешь меня?

– Ко мне. И кто б ты ни был: убийца с окровавленной десницей, которую не позаботился вымыть с мылом после злодеяния, и потому легко опознаваем; или брат, погубивший сестру, или лишенный трона и изгнанный из своих владений монарх – мой воистину великолепный чертог будет достоин тебя. Пусть это всего лишь убогая лачуга, пусть ее не украшают алмазы и самоцветы, зато она славна великим прошлым, к которому что ни день прибавляются новые страницы. Умей она говорить, она поведала бы много такого, что даже тебя, отвыкшего удивляться, повергло бы в изумление. Сколько раз глядел я, прислонясь спиной к двери, как мимо проплывали гробы, и кости тех, кто в них покоился, в недолгий срок становились еще трухлявее, чем сама эта ветхая дверь. Число моих подданных все растет. Чтобы заметить это, мне нет нужды устраивать периодические переписи. А вообще здесь те же порядки, что и у живых: каждый платит налог сообразно с благоустроенностью жилища, которое занимает, а с неплательщиками я, согласно предписанию, поступаю как судебный исполнитель, уж шакалов да стервятников, охочих до лакомого обеда, всегда предостаточно. Кого только не видел я среди рекрутов смерти: красавцев и уродов, что и при жизни были не краше, чем в гробу, – мужей и жен, вельмож и голытьбу, осколки юности и старческие мощи, глупцов и мудрецов, лентяев, тружеников, правдолюбцев и лжецов, смирение кроткое, кичливую гордыню, порок, увенчанный цветами, и добродетель, втоптанную в грязь.

– Что ж, твое ложе достойно меня, и я не откажусь провести на нем остаток ночи, пока не рассветет. Благодарю тебя за доброту... Мы восхищаемся при виде останков древних городов, но куда прекраснее, о могильщик, созерцать останки человеческих жизней!

[13] Брат кровопийц-пиявок тихо брел по лесу. Брел и останавливался – все хотел что-то вымолвить. Хотел, но не мог: только открывает рот, как сжимается горло и невыговоренные слова застревают на полпути. Наконец он вскричал: «О человек, если случится тебе увидеть в

реке дохлую собаку с задранными лапами, которую прибило к берегу течением, не поступай, как все: не набирай в пригоршню червей, что кишат в раздутом песьем брюхе, не разглядывай их, не режь ножом на кусочки и не думай о том, что и ты в свое время будешь выглядеть не лучше этой падали. Какую великую истину ты хочешь обрести? Никто доселе не смог разгадать тайну жизни: ни я, ни ластоногий котик из Ледовитого океана. Опомнись-ка лучше, подумай: уже смеркается, а ты здесь с самого утра. Что скажут домочадцы, что подумает твоя сестренка, увидев, как ты возвращаешься в столь поздний час? Помой скорее руки и поспеши туда, где ждет тебя ночлег... Но кто это, кто там вдали, кто смеет приближаться ко мне без страха, тяжелыми, нелепыми скачками, с исполненным величья и вместе с тем смиренья видом? И взгляд так кроток, так глубок. Огромные веки хлопают, словно паруса на ветру, и, кажется, живут сами по себе. Что за неведомое существо? Гляжу в его чудовищные очи и содрогаюсь – а этого со мною не бывало с тех пор, как младенцем сосал я иссохшие груди несчастной, что звалась моею матерью. Ослепительный нимб озаряет это создание. А при звуках его голоса все вокруг трепещет и замирает. Тебя, как я вижу, влечет ко мне, словно магнитом, – что ж, иди, препятствовать не стану. Как ты прекрасно! И как мне тяжело это признавать! Должно быть, ты обладаешь особой силой: у тебя не просто человеческое лицо, твой лик печален, как Вселенная, и прекрасен, как самоубийство. Но мне твой вид претит; когда б судьба велела мне вечно носить на шее змею, от которой нет избавленья, я все же предпочел бы глядеть на эту гадину, но только не в твои глаза!.. Постой... Да это, никак, ты, жаба?! Злосчастная жирная гадина! А я тебя и не узнал, прости! Чего ради явилась ты на эту землю, населенную падшими грешниками? И как ухитрилась стать такой пригожей, куда подевались твои противные мокрые бородавки? Я ведь видел тебя прежде: в тот раз ты по воле Всевышнего спустилась с небес, дабы служить утешением всем прочим тварям земным; слетела стремительно, как коршун, не утомив могучих крыльев в чудесном низверженьи. Бедная жаба! В то время я много размышлял о вечности и о своем в сравненье с ней ничтожестве. И я подумал: «Вот еще одно существо, возвышенное Божьим промыслом над нами, прозябающими здесь. А я, почему я обойден? Отчего Господь распорядился так несправедливо? Или Он, всесильный, грозный во гневе, слаб рассудком? Ты, повелительница луж и болот, явилась облеченная почестями, какие подобают одному Творцу, и внесла в мою душу хоть какое-то успокоенье, но ныне твое величие ослепляет и парализует мой нетвердый разум! Скажи же, кто ты? Не исчезай, побудь здесь, на земле, еще немного! Сложи белоснежные крылья и не бросай нетерпеливых взглядов на небеса. Или, если уж ты улетаешь, возьми меня с собою!» Тут жаба села, поджав мясистые ляжки – совсем как человеческие, – и тотчас же все слизняки, мокрицы да улитки поспешно расползлись, завидев своего смертельного врага, – села и заговорила так: «О Мальдорор! Посмотри: мое лицо безмятежно, как зеркало, да и умом я, верно, не уступлю тебе. Когда-то, давным-давно, ты назвал меня своей опорой в жизни. И с той поры я всегда оставалась достойной чести, которую ты мне тогда оказал. Конечно, я простая болотная тварь, но ты сам приблизил меня к себе, разум мой окреп, приняв все лучшее, что есть в тебе, и потому сейчас я могу говорить с тобою. Я пришла помочь тебе выбраться из бездны. Все твои друзья – вернее, все, кто может считаться друзьями, – с ужасом и отчаянием глядят на тебя всякий раз, как встретят в церкви или в театре, или в ином людном месте, когда ты бредешь понурый и бледный, или когда проносишься мимо по ночной улице в длинном черном плаще, похожий на призрака, бешено стиснув шпорами бока скакуна. Отринь же пагубные мысли, обратившие сердце твое в пепел. Твой рассудок поражен недугом, тем более страшным, что ты его не видишь и, когда из твоих уст исторгаются безумные, хотя и дышащие сатанинскою гордыней речи, полагаешь, что в них выражается твоя природная сущность. За свою жизнь ты произнес таких речей без счета, несчастный ты безумец! Жалкий остов бессмертного ума, некогда сотворенного Господом с великою любовью! Ты плодил одни лишь проклятья, хрипящие яростью, точно оскал голодной пантеры. Я дала бы выколоть себе глаза, отрубить руки и ноги, я предпочла бы стать убийцей, кем угодно, только не тобою! Ты

ненавистен мне. Откуда столько желчи? Да по какому праву ты сюда явился и поднимаешь на смех всех подряд, ты, жалкая гнилушка, неприкаянный скептик. Коль скоро все здесь тебе не по нраву, отправляйся туда, откуда пришел. Нечего столичному жителю слоняться по деревне – он там чужак. Известно же, что в надзвездных сферах есть миры куда обширней нашего, там обитают духи, чьи ум и знания далеко превосходят наше скудное разумение. Вот туда и держи путь! Оставь нашу землю, где все так зыбко и шатко, прояви наконец свою божественную суть, которая дотоле оставалась втуне, и вознесись, да поскорее, в свою стихию – завидовать тебе, гордецу, мы не станем; вот только я не разберу, кто же ты на самом деле: человек или существо высшей природы? Прощай же и знай: сегодня ты повстречался с жабою в последний раз. Из-за тебя я гибну. Я удаляюсь в вечность и буду молиться о твоём прощенье».

[14] Порой логично положиться на видимость явлений, а коли так, то первая песнь подошла здесь к концу. Не будьте чересчур строги к тому, кто пока лишь пробует свою лиру – так странен уху звук ее! И все же беспристрастный слушатель отметит в сей игре не только уйму недостатков, но и недюжинный талант исполнителя. Ну, а я засяду за работу, чтобы и вторая песнь без промедленья вышла в свет. Конец XIX века узнает своего певца (впрочем, первое его детище, натурально, еще не будет шедевром), рожденного на американском берегу, где берет начало Ла Плата, где живут два народа, прежде враждовавшие²¹, ныне же старающиеся превзойти друг друга в духовном и материальном процветанье. Звезда юга Буэнос-Айрес и франт Монтевидео сердечно протянули друг другу руки через серебро аргентинских вод. Однако в деревнях по-прежнему бесчинствует война и пожирает, ликуя, все новые и новые жертвы. Прощай и думай обо мне, старик, ежели у тебя хватило духу дочитать мое творенье. Ты же, юноша, не падай духом – ведь в лице вампира ты, сам того не чая, обрел нового друга. Так что теперь, считая чесоточного клеща, у тебя их двое!

²¹ ... два народа, прежде враждовавшие... – В середине XIX в. Аргентина и Уругвай долго воевали друг с другом, с 1843 по 1851 г. (Дюкасс родился в 1846 г.), столица Уругвая Монтевидео находилась в осаде. Гражданские смуты в Уругвае продолжались до 1865 г.

Песнь II

[1] Где побывала первая песнь Мальдорора с тех пор, как, обозрев чертоги ярости, исторглась в минуту раздумья из опьяненных белладонной уст его? Где побывала?.. А в самом деле, где? Ни ветер, ни листья деревьев не помнят ее. Кажется, Добродетель встретила ее на пути, но, не распознав в авторе огнедышащих строк своего же ревностного стража, скользнула мимо, заметив лишь, что та, решительно ступая, устремила к черным безднам и тайным извилинам душ. Научно доказано только одно: с тех пор человек, узрев свой жабий лик, не узнает себя и, что ни день, беснуется в припадках звериной злобы. И, право, он не виноват. Испокон веков он жил замурясь, зарыв лицо в розанчики умильного смирения и полагая, будто его душа – это море добра и в нем лишь капля зла. А тут вдруг, разметав покровы, я показал ему его нутро, оголил душу, и что же – ему открылось море зла и в нем лишь капля добра, да и та давно бы растворилась, когда бы не усилия Правосудия. Спору нет, истина горька, однако же стара как мир, и, обнародовав ее, я вовсе не желал, чтоб человек стыдился иль терзался – чего стыдиться? – но есть законы естества, и над ними мое желанье или нежеланье невластно. Раз я сорвал личину и обнажил спрятанную под нею харю, раз погубил все сладкие иллюзии, сломал их, как игрушки из смарагдов и жемчугов, так что с мелодичным звоном лопнули серебряные пружинки, – возможно ль, чтобы человек не дрогнул, остался спокоен и невозмутим, хотя бы даже его рассудок победил гордыню и упала пелена, веками застилавшая глаза? Неудивительно поэтому, что Мальдорор был встречен бурей злобных криков, стонов, воя и скрежета зубового – еще бы: ополчась на род людской, что мнил себя неуязвимым, он сокрушил бастионы филантропических тирад, которыми, как песком, до отказа набиты сочиненные людьми книги – порою я сам, признаться, не прочь, хотя и вопреки рассудку, потешиться ими: они бы были уморительно смешны, когда б от них не делалось так тошно. Иного Мальдорор не ждал. Фронтон бумажного святилища из дряхлых фолиантов украшен изваянием Добра, но это зыбкое убежище. Мой Мальдорор – алмазный меч! Ты, человек, гол перед ним, как червь! Оставь кичливые повадки, забудь о гордости; вот, не угодно ли, я сам простерся ниц и заклинаю: запомни, крепко-накрепко запомни то, что я сейчас скажу! Знай: есть некто, зорко наблюдающий за каждым шагом твоей греховной жизни, и из тенет его зловещей прозорливости не вырваться! Пусть он не смотрит, пусть он спит – остерегайся, он зрит и видит, он видит все! И не надейся превзойти в злокозненности того, кто порожден моим воображеньем! Он бьет без промаха!

Но помни и другое: разбойники и волки не убивают сородичей – такое у них не в обычае. А посему не бойся за свою жизнь: в его руках она будет в безопасности, он даже в некотором роде станет опекать тебя. Конечно, не затем, чтобы усовершенствовать – хоть бы он клялся в этом, не верь! – ты ему более чем безразличен, да и это лишь полуправда, выговорить же всю правду мне не достанет духу и не позволит милосердие. Нет, расточая злодеянья, он развратит тебя, так что в порочности ты сравнишься с ним самим и вместе с ним, когда настанет срок, будешь низринут в бездну преисподней. Давно уж лязгает цепями и ждет его в аду стальная виселица. Когда же наконец судьба моего героя свершится, он станет самой лакомой добычей для адской пасти и обретет достойное себя пристанище. Уф, ну вот, кажется, я ни разу не сбился с отеческого тона, и, стало быть, Человеку не к чему будет придаться.

[2] Грядет вторая песнь... скорее... вот перо, что вырвано из крыл стервятника или орлана жадного²². Но... что это? Как только принимаюсь за работу – немеют пальцы. А я хочу писать... Не получается... Но, говорю же, я хочу, желаю записать свои мысли: таков естествен-

²² ... орлана жадного – Прямое заимствование из стихотворения Гюго «Ментана» (VII). Написанное в конце 1867 г., оно было у всех на слуху, когда создавались «Песни Мальдорора».

ный закон, и я, как каждый смертный, имею право следовать ему. Ну же!.. Нет, перо ни с места... Между тем вдали, над горизонтом, заблестали зарницы. Гроза. Все ближе, ближе... Закапал дождь... Полил... Не молкнет гром. Разверзлись хляби! В открытое окно вдруг полыхнула молния – удар! – и я повержен. Несчастный! Ты и без того был уродлив, ранние морщины не красили твое лицо, теперь же прибавится еще и этот длинный багровый шрам. (И то лишь в случае благоприятного заживления раны, что будет весьма не скоро!) Что значит эта буря и сковавший пальцы паралич? Предупреждение свыше, чтоб я поостерегся писать и понял, что мне грозит, если не перестанут бурной пеной исходить мои правдивые уста? Меня пугать грозой? Да пусть гром и молния испепелят всю землю – я не боюсь! Божьи жандармы не жалеют рвения, рука Владыки тверда, он метил в середину лба, куда удар всего опасней – и вот лицо рассечено надвое. Увы, не мне хвалить его за меткость! Но это огненное покушение – признание моей силы. О гнусный, похожий ликом на гадюку Вседержитель, ты проявляешь нетерпение, ты устал ждать, пока безумие и кошмары подточат мою жизнь, и, поразмыслив, счел, что величие твое не пострадает, если, вдобавок ко всему, ты мнепустишь кровь. Что ж, воля твоя. Но, не в обиду тебе будь сказано, к чему все это? Или для тебя новость, что я не люблю, а вернее, что я ненавижу тебя? Чего ты хочешь? Когда тебе наскучат все эти причуды? Неужто же, скажи по-дружески, ты сам не видишь, до чего смешно капризное упорство, с каким ты измышляешь мне все новые кары? Твои же собственные слуги, все до последнего серафима, отлично это понимают, да только молчат из страха и почтения. Что за необузданность, право? Я был бы тебе весьма признателен, если бы ты избавил меня от этих своих нелепых вспышек. Сюда, Султан, а ну-ка, подлижи: пол залит кровью. Вот и повязка готова: рана промыта соленой водой, крест-накрест бинты на лице. Пролилось море, море крови, но ведь и море не безбрежно, пара платков да две пары рубах впитали его без остатка. Кто б мог подумать, что в жилах Мальдорора столько крови, не о нем ли говорили: бескровный, как мертвец. А вот поди ж ты... Зато теперь я, кажется, и вправду обескровлен. Эй, ненасытный пес, довольно, твоя утроба переполнена. Остановись, не то тебя стошнит той кровью, что ты наакался. Ты проглотил столько красных и белых шариков, что теперь три дня можешь валяться в конуре и наслаждаться сытостью и негой, не утруждая себя заботой о пропитанье. Ты же, Леман, берись за швабру – я взялся бы и сам, но увy! Ты видишь: я без сил... Да ты, никак, собрался плакать? Вон навернулись слезы – так пусть вернутся вспять, иль ты так слаб, что и глядеть не можешь на мой рубец, да полно, все позади, бездна времени поглотила все муки. Так вот, поди к колодцу да принеси два ведра воды. Выемешь пол, а всю одежду снесешь в другую комнату. Вечером явится за бельем прачка – ей все и отдашь, а впрочем, нынче она вряд ли придет, дождь так и хлещет, ну, тогда отдашь завтра утром. А ежели спросит, откуда столько крови, ты вовсе не обязан отвечать. Ах, как я слаб... Но у меня еще достанет сил держать перо, достанет духу мыслить. Так стоило ль, Творец, страшать меня, как малое дитя, твоими громами и молниями? Намеренье мое неколебимо, раз я решил писать, не отступлюсь. Нелепая повязка на лице да запах крови, пропитавший стены...

[3] Да не придет тот день, когда, повстречавшись в толпе на улице, мы с Лоэнгрином безучастно разойдемся, как чужие! О нет! Не может быть – и думать не хочу! Всевышний сотворил мир таким, каков он есть, но было бы весьма похвально, когда бы Он хоть на краткий миг, такой, к примеру, чтоб успеть взмахнуть дубиной и снести голову какой-нибудь несчастной, – забыл о своем самодержавном величье и поведал о тайных пружинах, управляющих жизнью, в которой все мы, люди, бьемся, подобно сваленным на дно рыбацкой лодки рыбам. Но Он велик, высок, недосыгаем. Его помыслы куда как превосходят наше разумение, и если бы мы вдруг удостоились Его беседы, то нас испепелил бы жгучий стыд – так мы ничтожны рядом с Ним... И что же, негодяй, ты, не моргнув глазом, все это выслушаешь и не покраснееешь? Не ты ли сам обрек свои творенья на жизнь в пороке и страданье, в убожестве и нищете? Да

еще трусливо утаил причину, почему ты их так обездолил. Пути Господни неисповедимы? О, только не для меня, я знаю Его слишком хорошо Не хуже, чем Он меня. Если наши дороги скрестятся, Он, издавек приметив меня зорким оком, поспешно свернет в сторону из страха перед разящим жалом с тремя стальными остриями, которое природа дала мне взамен языка. Так сделай милость, Владыка, дай мне излить душу. Я стану осыпать тебя язвительными, ледяными насмешками, и знай: пока не оборвется нить моей жизни, не истощится и их запас. Под мощными ударами затрещит твой хрупкий панцирь, идол, и я сумею выжать из тебя по капле всю мудрость, которой ты не пожелал наделить человека, убоявшись, что он станет равным тебе. Словно лукавый вор, ты схоронил сокровища, запрятал их в своей утробе. Но разве ты не ведал, что рано или поздно я проникну не знаящим преграды взором в твой тайник и извлеку все спрятанное там добро, чтобы раздать его моим духовным братьям? Я так и поступил, и ныне сии избранники не уступают тебе в мощи и взирают на тебя без трепета. Так покарай меня скорее, убей за дерзость: вот грудь моя, смиренно жду – рази! Где обветшалый арсенал загробных мук? Где жуткие, стократ и с леденящим душу красноречием описанные орудия пытки? Смотрите все, я богохульствую, глумлюсь над Господом, а он не властен убить меня! Меж тем, кому же неведомо, что порой из прихоти, безвинно, умерщвляет он юношей во цвете лет, едва вкусивших прелесть жизни. Жестокость, вопиющая жестокость – по крайней мере, таково сужденье моего далекого от совершенства разума. И разве на моих глазах Всеблагой Господь, теща бессмысленную свою свирепость, не раздувал пожары, в которых, объятые пламенем, гибнут грудные младенцы и дряхлые старцы? Не я пошел войной на Бога, зачинщик он, и если ныне я вооружился стальным хлыстом, и стегаю обидчика, и заставляю его вертеться волчком в бессильной злобе, то виноват он сам. Моя хула – лишь плод его деяний. Так пусть же не остынет пыл! Пока клокочут, как в вулкане, безумные, рожденные бессонницей виденья. Впрочем, вся эта тирада была навеяна мыслями о Лоэнгрине – вернемся же к нему. Поначалу, опасаясь, что он со временем станет таким же, как прочие люди, я было решил зарезать его, как только он минет возраст детской невинности. Однако, поразмыслив, в последний момент отказался от этого плана. Лоэнгрин и знать не знает, что жизнь его целых четверть часа висела на волоске. Ведь все уже было готово, даже оружие куплено. Узенький – ибо я ценю красоту и изящество во всем, не исключая орудий убийства, – но зато длинный и острый кинжал. Один точный удар в горло – главное попасть в сонную артерию – и все было бы кончено. Но я рад, что передумал, иначе позже пожалел бы о содеянном. Живи, мой Лоэнгрин, от жалких пут свободен будь, ты один себе господин. Хочешь – вырви мне глаз и растопчи ногами, хочешь – сгнои в застенке с крысами и пауками. И я не возропщу, я отрекаюсь от себя, я твой и только твой. С восторгом приму я от тебя любую пытку, когда подумаю, что эти руки, терзающие, рвущие меня на части, принадлежат тому, кто много выше прочих смертных. Погибнуть ради ближнего и впрямь прекрасно; умирая, я обрету веру в людей: быть может, они не вовсе плохи, коль скоро нашелся среди них такой, что смог насильно побороть мои предубежденья, заставить ужаснуться и вызвать мой восторг и лютую любовь!..

[4] Полночь, от Бастилии до самой церкви Магдалины ни одного омнибуса. Ни одного... – но вот, внезапно вынырнув из-под земли, показался экипаж. Ночных прохожих мало, но каждый непременно обернется, посмотрит вслед – так странен он. У пассажиров на империале глаза мертвых рыб²³, взор неподвижен и незряч. Они сидят, тесно прижавшись друг к другу – хотя их не больше, чем мест, – и совсем не похожи на живых людей. А когда взлетает над лошадиными спинами кнут, кажется, не рука кучера поднимает кнутовище, а кнутовище

²³ У пассажиров на империале... – Луи Арагон, знаток и горячий поклонник Лотреамона, в одном из своих романов, осуждающем позицию равнодушного созерцания людских бед, приводит сцену с омнибусом из «Песен Мальдорора»; роман так и озаглавлен: «Пассажиры империала» (1942).

тянет за собою руку. Сонм загадочных безмолвных существ – кто они? Лунные жители? Возможно... но больше всего они напоминают мертвецов. Спеша прибыть к конечной станции, несется вихрем омнибус, и мостовая стонет. Все дальше, дальше! А сзади, в клубах пыли, мучительно, но тщетно стремясь догнать, бежит, трепещет тень. «Остановите, умоляю, стойте! Я голоден... и ноги в кровь разбиты... родные бросили... я пропаду... хочу домой... остановите, позвольте сесть, мне не дойти пешком... я мал, мне восемь лет... о, помогите...» Мчит омнибус! Все дальше, дальше.... А сзади, в клубах пыли, мучительно, но тщетно стремясь догнать, бежит, трепещет тень. Один из хладноглазых седоков империи толкает в бок другого, давая знать, как досаждают и беспокоит слух этот пронзительный, молящий и серебром звенящий голос. Сосед слегка кивает и вновь впадает в самовлюбленное оцепенение, подобно тому, как черепаха заползает в панцирь. Лица прочих пассажиров выражают полное согласие с ними. А крики, один отчаянней другого, не смолкают. В домах на бульваре распахиваются окна, вот высунулся кто-то с фонарем, опасливо глянул на улицу и тут же наглухо захлопнул ставни и исчез... Мчит омнибус! Все дальше, дальше... А сзади, в клубах пыли, мучительно, но тщетно стремясь догнать, бежит, трепещет тень. Среди окаменелых пассажиров лишь один забывшийся в мечтаньях юноша очнулся и как будто тронут чужим страданием. Но заступиться за ребенка, который бежит, преодолевая боль в истерзанных ногах; бежит, простодушно надеясь, что его услышат, что он догонит омнибус, – заступиться за него юноша не сможет, он видит, как надменно и презрительно устремлены на него взоры спутников, он знает: один бессилен против всех. Обхватив голову руками, с горестным недоумением он думает: «Неужели вот оно, то, что зовется людским милосердием?» И постигает, что милосердие – один лишь пустой звук, одно лишь вышедшее из употребления, забытое даже поэтами слово; и понимает, как заблуждался прежде. «Зачем огорчаться из-за какого-то ребенка? Что мне до него?» – кощунственно подумал он, но в тот же миг по щеке его скатилась горячая слеза. В досаде он провел ладонью по лицу, как будто стараясь прогнать облачко, замутняющее трезвость рассудка. Он силится приноровиться к веку, в который заброшен судьбой. Напрасный труд: здесь все ему чуждо, и он всем чужд, а вырваться из времени не дано. Постылый плен! Злосчастный жребий! Что ж, Ломбано, отныне я тобой доволен. Я здесь, рядом с тобою, сижу среди этих мертвых пассажиров, на вид такой же истукан, но неотступно наблюдаю за тобой. Вот ты вскочил, поддавшись возмущению, рванулся прыгнуть, чтоб не участвовать, хотя бы и невольно, в постыдном деле. Но стоило мне шелохнуться, подать едва заметный знак – и ты покорно опускаешься на место, мы снова рядом... Мчит омнибус! Все дальше, дальше... А сзади, в клубах пыли, мучительно, но тщетно стремясь догнать, бежит, трепещет тень. Вдруг оборвался крик: дитя споткнулось о булыжник и падает на мостовую, голова в крови. А омнибус уж скрылся. Он мчит! Все дальше, дальше! Но тени той, бежавшей сзади, в клубах пыли, мучительно, но тщетно стремясь догнать, уж нет. Глядите – по улице, согнувшись под убогим фонарем, бредет старьевщик, и он куда великодушнее своих собратьев, что умчались прочь. Он подобрал ребенка, он непременно выходит его, не бросит, как бросили жестокие родные. Мчит омнибус! Все дальше, дальше... Но взгляд старьевщика, пронзительный, как вопль, летит за ним, сквозь клубы пыли, не отставая... Тупоголовый род кретинов! Ты мне за все, за все ответишь! Ты пожалеешь! Попомни мое слово... Пинать, дразнить, язвить тебя, о человек, тебя, хищная тварь, тебя и твоего Творца, за то что породил такую скверну, – лишь в этом суть моей поэзии. Все будущие книги, все до последней, множество томов, я посвящу сей единственной цели и останусь верен ей, пока дышу.

[5] В той узкой улочке, по которой одно время я ежедневно проходил, отправляясь на прогулку, меня каждый раз поджидала стройная девочка лет десяти и, дав мне отойти, шла следом, не сокращая расстояния, но и не спуская с меня горящих любопытством глаз. Для своих лет она была довольно высока, изящна станом. Густые черные волосы разобраны на прямой

пробор и заплетены в две тяжелые косы, падающие на мраморной белизны плечи. Однажды, когда она, по своему обыкновению, шла за мною следом, на нее внезапно набросилась какая-то простолюдинка, жилистой рукою схватила за косы, отхлестала по щекам и потащила домой, точно заблудшую овцу, а девочка гордо молчала. Изю дня в день повторялось одно и то же: я делал вид, что не замечаю ее, а она неотвязно шла за мной по пятам. И лишь когда я сворачивал с той узкой улочки в другую, она заставляла себя остановиться и, застыв на перекрестке, как статуя Безмолвия, глядела мне вслед, пока я не скрывался из виду. Но как-то раз знакомая фигурка возникла не сзади, а впереди. Если я, желая обогнать ее, шел быстрее, она чуть не бежала, лишь бы сохранить разделявшую нас дистанцию, если же замедлял шаг, желая приотстать, она с трогательной юной грацией принималась шагать так же медленно. Дойдя до самого конца той узкой улочки, она помедлила, потом обернулась и встала, преградив мне путь. Деваться было некуда, я подошел вплотную. Глаза ее, заплаканные, покрасневшие, глядели прямо на меня. Она явно хотела заговорить со мною, да не знала как. В конце концов, смертельно побледнев, она пролепетала: «Пожалуйста, скажите... который час...» В ответ я бросил, что не ношу часов, поспешно проскользнул мимо нее и быстро зашагал прочь. О дитя, как рано проснулось в тебе страстное воображение, но с тех пор уже ни разу ты не видала юношу с печатью тайны на челе, ни разу не слышала его тяжелых, гулких шагов в той узкой улочке... И никогда больше, сколько бы ты ни ждала, не поразит твой взор эта огненная комета, зато еще долго, быть может, до самой смерти ты будешь вспоминать о том, кто брел по миру, неприкаянный и равно чуждый и добру и злу; ты навсегда запомнишь его пугающее, бледное лицо, его вздыбленные волосы, его нетвердую поступь и эти руки, что вслепую разгребают насмешливые волны мирового эфира, тщетно пытаясь ухватиться за спасительную надежду, ту, чьи кровавые останки неумолимый рок влечет своим багром все дальше, вглубь, в необозримое пространство. Итак, мы больше не увидимся! Но... как знать?., возможно, эта дева вовсе не такова, какой казалась. Возможно, под внешностью наивной крошки таилось хитрое и притягательно-порочное создание, притворщица, много изведавшая в свои восемнадцать лет. Разве мало жриц любви весело перепорхнуло к нам через Ла Манш с Британских островов? Сияющим златокрылым роем слетелись они на свет парижских фонарей. Такую встретишь и подумаешь: «Да это же совсем ребенок, лет десяти-двенадцати, не больше». И ошибешься: ей все двадцать. О, если так, если и она... да будет проклято все, что творится в той узкой улочке. И не за то ли мать побила дочку, что та нерасторопна и плохо знает ремесло? Чудовище, не мать! А если дочь и впрямь еще ребенок, то эта мать вдвойне преступна! Но полно, быть может, предположение неверно, и, право, мне куда приятней думать, что я пробудил первые смутные порывы страстной натуры. Послушай же, дитя, если когда-нибудь впредь мне случится пройти той узкой улочкой, не попадайся на моем пути, берегись! Ты можешь дорого за это заплатить! И так уж кровь закипает в моих жилах и ненависть застилает глаза. Возможно ли, чтоб я проникся любовью и жалостью к человеческому существу? Да никогда! Едва появившись на свет, я поклялся в вечной ненависти к людям. Ибо они ненавидят меня! Скорее перевернется мир, скорее горные кряжи сдвинутся с места и лебедями поплывут по лону вод, чем я оскверню себя прикосновеньем к человеческой руке. Горе тому, кто мне ее протянет! И ты, дитя, увы, не ангел, а человеческая дочь, и рано или поздно станешь такою же, как все. А потому держись подальше от моих хищно сощуренных сумрачных глаз. Ведь я могу, неровен час, поддаться искушенью, схватить твои руки и скрутить, как прачка скручивает белье, или разломать на куски, так что кости затрещат, словно сухие сучья, и заставить тебя разжевать и проглотить эти куски. Могу обхватить ладонями твое лицо, как будто лаская, и вдруг железными ногтями продавить твой хрупкий череп, зарыться пальцами в нежнейший детский мозг и смазать этою целительною мазью свои воспаленные вечной бессонницей глаза. Или сшить твои веки тонкой иглою, так что мир для тебя погрузится во тьму и ты не сможешь ступить ни шагу без поводыря – и уж не я им буду! Или, мощно рванув, раскрутить тебя за ноги, точно прачку, и со всего

размаху швырнуть в стену. Брызнут во все стороны капли невинной крови, и каждая, попав на человеческую грудь, останется на ней несмываемым алым пятном – сколько ни три, хоть вырви лоскут кожи, все равно вновь и вновь проступит на том же месте, горя рубиновым огнем. Что же до твоих останков, то не тревожься, я буду почитать их как святыню, приставлю полдюжины слуг оберегать их от покушений голодных псов. Почти излишняя предосторожность, ибо от такого удара тело расплывется о стену, как спелая груша, и не упадет на землю, а прилипнет, однако же собаки, как известно, способны иной раз подпрыгнуть на изрядную высоту.

[6] Какой прелестный мальчик – вон там, на скамье Тюильрийского сада! Ясный взор устремлен вдаль, будто он разглядывает что-то, невидимое для других. Ему всего лет восемь, но он не играет, как все дети. Не бегает и не резвится с другими мальчуганами: как видно, ему больше по нраву сидеть в сторонке одному.

Какой прелестный мальчик – вон там, на скамье Тюильрийского сада! Но вот к нему подсел какой-то странный господин. Что ему надо? Кто он? Впрочем, называть нет нужды – вы сами тотчас его признаете по ядовито-вкрадчивым речам. Не станем же мешкать, слушаем их разговор.

– О чем ты думаешь, малыш?

– О небе.

– Вот еще. Нужно думать о земле, а не о небе. Или ты, совсем младенец, уже устал от жизни?

– Нет, но ведь небо лучше земли, так все говорят.

– Только не я! Один и тот же Бог сотворил и землю, и небо, а значит, там ты найдешь те же изъяны, что и здесь. Не надейся, что будешь после смерти вознагражден за свои заслуги: ибо, если приходится терпеть несправедливость здесь, на земле – а в этом ты очень скоро убедишься на собственном опыте, – то нет причин полагать, будто не придется терпеть ее и на том свете. Лучше не уповать на Бога, а добиваться самому того, что тебе причитается по праву, но в чем тебе отказано. Вот, например, когда кто-нибудь из приятелей обидит тебя, разве ты не хочешь его убить?

– Но убийство – страшный грех!

– Ну, не такой уж страшный. Не надо только попадаться. Права и запреты, установленные законом, ничего не значат. Обида диктует свое право. Подумай: если ты возненавидишь этого приятеля и станешь все время думать о нем и представлять его, ты будешь страдать, не так ли?

– Так.

– Причем страдать всю жизнь – ведь, убедившись, что ты, хоть ненавидишь его, но ничего не сделаешь, он так и будет безнаказанно дразнить тебя и мучить. Значит, есть только один способ все это прекратить: избавиться от мучителя. Это я и хотел тебе доказать, чтобы ты понял, каковы на самом деле основы общества. Каждый, у кого есть голова на плечах, творит правосудие сам. Кто всех сильнее и хитрее, тот и возьмет верх над другими. А ты хочешь иметь власть над людьми?

– О да.

– Ну, так стань хитрее всех. Ты еще мал и не можешь стать самым сильным, но хитрость, излюбленное оружие лучших умов, тебе вполне по плечу. Вспомни пастушка Давида, поразившего великана Голиафа камнем из пращи; одной только хитростью он и одолел противника, а схватись они врукопашную, великан раздавил бы его, точно муху. Это тебе пример. В открытом бою ты не осилишь тех, кого желаешь подчинить себе, зато пуская в ход хитрость, сможешь успешно воевать один против всех. А ты ведь хочешь обладать богатством, славой, красивыми дворцами? Или, говоря о своих великих притязаниях, ты лжешь?

– Нет-нет, не лгу. Но я хотел бы достигнуть этого другими средствами.

– В таком случае ты вообще ничего не достигнешь. Честные и чистые средства никуда не годятся. Нужны рычаги помощнее, силки понадежнее. Пока ты будешь идти к славе дорогой добродетели, тебя обскочат сотня хитрецов, так что к тому времени, как ты, со своей щепетильностью, доберешься до цели, тебе попросту некуда будет втиснуться. В наше время надо смотреть на мир шире. Взять хоть великих полководцев – тебе, конечно, известно, какие почести воздаются славным победителям. Но победы не приходят сами по себе. Чтобы одержать победу и насладиться ею, нужно пролить кровь, много крови. Устраивается бойня по всем правилам, после которой на полях остаются груды трупов, разорванные на куски тела... – без этого не бывает войны, а без войны не бывает победы. Выходит, чтобы прославиться, надо сначала, не дрогнув, искупаться в крови, что рекою льется при разделке пушечного мяса. Цель оправдывает средства. Так вот, тому, кто хочет славы, прежде всего, понадобятся деньги. У тебя их нет, значит, надо кого-нибудь прикончить, чтобы раздобыть их. Поскольку ты еще мал и слаб, чтобы орудовать кинжалом, с этим придется повременить, пока же научись воровать. Ну, а чтобы мускулы поскорее окрепли, советую каждый день заниматься гимнастикой, по часу утром и вечером. Тогда ты сможешь испробовать себя в убийстве не в двадцать, а, скажем, в пятнадцать лет. Жажда славы оправдывает все, к тому же, когда ты наконец станешь повелевать людьми, ты, может быть, сделаешь им столько же добра, сколько когда-то причинил зла.

И видит Мальдорор: у мальчика раздулись ноздри, губы подернулись белой пеной, в висках застучала кровь. Он щупает пульс ребенку и слышит, как неистово бьется сердце. Нежное тельце дрожит в лихорадке. И, опасаясь, как бы действие его слов не оказалось чересчур сильно, злодей уходит, досадуя, что не удалось поговорить с мальчуганом подольше. Бедный малыш! И в зрелые лета бывает нелегко усмирить голос страстей и, устояв пред искушением, не поддаться злу; каких же усилий стоит это ему, еще совсем неопытному в жизни! После такого потрясения он сляжет дня на три в постель. И дай-то Бог, чтобы материнские ласки отогрели хрупкий цветок и вернули покой и мир невинной душе.

[7] В лесу, на цветущей поляне, забылся сном гермафродит, и, словно росой, омочена его слезами трава. Пробиваясь сквозь толщу облаков, луна ласкает бледными лучами юное пригожее лицо спящего, лицо, в котором мужественной силы столько же, сколько девической кротости. Все несуразно в этом существе: крутые мускулы атлета не украшают тело, а грубыми буграми нарушают плавную округлость женственных линий. Одной рукою он прикрыл глаза, другую прижал к груди, будто хочет унять надрывное биение сердца – тяжкая вечная тайна гнет его, оно переполнено и не может излиться. Прежде он жил среди людей, мучительно стыдясь того, что он иной, чем все, урод, и наконец отчаялся, не вынес и бежал, и ныне он бредет по жизни в одиночестве, как нищий по большой дороге. Вы спросите: чем он живет, как добывает пропитание? Что ж, мир не без добрых людей, не все его покинули, – и кое-кто, хоть он о том и не ведает, любовно заботится о нем. Да и как его не любить: ведь он так незлобив и так смиренен. Порою он не прочь поговорить с сердечным человеком, но избегает всякого прикосновения и держится всегда поодаль. Однако спроси кто-нибудь, почему он избрал удел отшельника, он оставит неосторожный вопрос без ответа и лишь обратит взор к небесам, еле удерживаясь, чтобы не заплакать от обиды на Провидение Господне, – и белые лепестки его век окрасятся в цвет алой розы. Если же собеседник не отступится, гермафродит забеспокоится, начнет тревожно озираться, словно учуяв приближение невидимого врага и ища, где бы скрыться, и наконец, наспех простившись, умчится в чашу леса, гонимый растревоженной стыдливостью. Немудрено, что его принимают за сумасшедшего. И вот однажды к нему послали четверых стражников в масках, они набросились на него и крепко-накрепко скрутили веревками, оставив свободными только ноги, чтобы он мог идти. Уже обожгла его плечи ременная плеть, и

прозвучали окрики – стражники приготовились гнать его в Бисетр²⁴. Но он лишь улыбнулся в ответ на удары и заговорил со своими мучителями, обнаружив редкостную глубину ума и чувства: познания его в самых разных науках были поразительны для его возраста, а рассуждения о судьбах человечества возвышенны и поэтичны. И стражники ужаснулись содеянному, тотчас развязали путы и бросились ему в ноги, умоляя о прощении, получив каковое, ушли, выказывая знаки восторженного преклонения, какого мало кто из смертных удостоивается. Когда случай этот получил огласку, секрет гермафродита был разгадан, но, дабы не усугублять его страданий, никто ему об этом не сказал, а власти назначили ему немалое пособие, желая загладить свою вину и заставить его забыть о том прискорбном дне, когда его едва не засадили в сумасшедший дом. Из этих денег лишь половину он берет себе, остальное раздает бедным. Случись гермафродиту увидеть где-нибудь в густой тени платанов гуляющую пару, как с ним происходит нечто ужасное, словно два разных существа, обитающие в нем, раздирают его на части: одно горит желанием заключить в объятия мужчину, другое столь же страстно воделеет к женщине. И хоть усилием разума он быстро умирляет это безумие, но предпочитает избегать любого общества: и мужского, и женского. Он стыдится своего уродства, стыдится чрезмерно, так что не смеет ни к кому питать сердечной склонности, убежденный, что это осквернило бы и его самого, и того, кто ему мил. «Пусть каждый следует своей природе», – неустанно твердит ему гордость. Из гордости не хочет он соединить свою жизнь ни с одним мужчиной и ни с одной женщиной, боясь, что рано или поздно его попрекнут страшным изъязом и вменят в вину то, над чем он не властен. И хотя этот страх не более, чем собственный его домысел, но и воображаемая обида терзает его самолюбие. Вот почему, страждущий и безутешный, он так упорно сторонится всех людей. В лесу, на цветущей поляне, забылся сном гермафродит, и, словно росой, омочена трава его слезами. С ветвей деревьев завороченно, забыв о сне, глядят на скорбный лик дневные птицы, а соловей не начинает своих хрустальных трелей, чтобы не разбудить его. Безмолвный ночной лес над распростертым телом подобен торжественному сводчатому склепу. Тебя же, путник, что забрел сюда ненароком, молю: ради всего, что свято для тебя – той страсти к приключениям, что заставила тебя еще ребенком бежать из-под родительского крова; тех страшных мук, которые ты претерпел в пустыне, томясь от жажды, – ради давно покинутой отчизны, которую ты, неприкаянный изгнанник, хотел бы обрести в чужих краях; ради верного скакуна, делившего с тобою все тяготы странствий, выносившего непогоду всех широт, куда только ни гнал тебя твой неумный нрав бродяги; ради той особой, невозмутимой стойкости, которая приобретается в скитаниях по дальним странам и по неизведанным морям, среди полярных льдин и под палящим солнцем, – молю тебя, не тронь волос гермафродита, пусть прикосновение твое легче ветерка, все равно, остановись, не тронь волос, что буйно разметались по траве и золотом вплелись в ее зеленый шелк. О, будь благочестив, остановись, отступи. Нельзя касаться этих прядей – таков зарок гермафродита. Он пожелал, чтобы никто из живущих на земле не прижимал к восторженным губам его кудрей, овеванных дыханьем горных высей, никто не лобзал чистейшее чело, сияющее здесь, во мраке, подобно звезде в небесах. Или и впрямь одна из звезд, сойдя со своего извечного пути, спустилась с неба на прекрасный лоб гермафродита и лучистым нимбом увенчала его главу. Он – само целомудрие, он подобен безгрешным ангелам, и самая угрюмая ночь смягчается и приглушает шум и шелест мошкары, оберегая его сон. Густые ветви сомкнулись над ним, словно полог, защищая от росы; ветер перебирает струны сладкозвучной арфы и стройными аккордами ласкает слух спящего, ему же мнится, будто он внимает музыке небесных сфер. Гермафродиту снится, что он счастлив, ибо стал таким, как все люди, или перенесся на багряном облаке в мир, который населяют существа, подобные ему. Это сон, только сон, обманчивый и сладкий, так пусть продлится он до самого утра. Гермафродиту снится, будто пестрые хороводы цветов кружатся вокруг него в

²⁴ Бисетр – дом для престарелых и умалишенных.

пленительном танце и изливают на него потоки упоительных ароматов, а он поет гимн любви и держит в объятиях прекраснейшее существо на свете. Но увы! едва развеются вместе с утренним туманом грезы, едва проснется он, как увидит, что руки его сжимали призрак, пустоту. Так спи же, спи, гермафродит! Не просыпайся, умоляю... Пусть дольше длится сон, пусть длится вечно... Видения несбыточного счастья вздымают грудь, да будет так... Не открывай же глаз, не просыпайся, я не хочу! Дай мне уйти, пока ты спишь. Быть может, когда-нибудь я напишу о тебе длинную волнующую повесть, расскажу со всеми раздирающими душу подробностями о горестной твоей судьбе и не премину присовокупить назидательные выводы. Пока же мне ни разу не удалось довести это дело до конца: едва приступлю – из глаз неудержимо льются на белый лист бумаги слезы и пальцы дрожат, как у немощного старца. Но я должен, должен набраться духу. Такая слабость простительна женщине, мне же не пристало, точно барышне, лишаться чувств при мысли о твоих страданиях. Спи, спи, гермафродит... Не открывай покуда глаз... Прощай, гермафродит! Каждый день стану я молить о тебе Господа (чего ни за что не стал бы делать ради себя самого). Да обретешь ты наконец успокоенье!...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.